Александр

КУПРИН

Париж интимный



Жанета

Александр Иванович Куприн

Александр Иванович Куприн. Жанета
I
II
III
IV
V
VI

Александр Иванович Куприн
Жанета

I

В юго-западном углу Парижа, в зеленом нарядном Passy, в двух шагах от Булонского леса (стоит только перейти по воздушному мостику над полотном окружной железной дороги), на самом верху шестиэтажного дома живет старый русский профессор. Чердачная мансарда его длинна и узка; к дверям — немного пошире; потолком ей служит покатая крыша дома; в общем, она, по мнению ее обитателя, похожа видом и размером на гроб Святогора, старшего богатыря. Единственное ее окно сидит глубоко в железном козырьке.

Профессор Симонов живет с простотою инока. Вся его мебель: раскладная парусиновая кровать военного образца, деревянный некрашеный стол, две такие же табуретки, умывальник с кувшином и ведром и старозаветный чемодан, весь испещренный разноцветными путевыми ярлыками. Стены оклеены отвратительнейшими обоями в синие и желтые полосы; когда на них глядишь, то скашиваются глаза и кружится голова.

Профессор сам готовит для себя на спиртовке спартанские кушанья и кипятит чай, сам прибирает комнату, сам чистит платье и сапоги.

Но человек не может жить без роскоши (кроме изуверов и идиотов), и в этом, по мнению профессора, одно из важных отличий его от всех животных, за исключением некоторых диких птиц, чудесно украшающих свои гнезда. На подоконнике, в больших деревянных ящиках, всегда растут редкие яркие цветы. Он за ними внимательно ухаживает. Иногда можно застать его в те минуты, когда он тонкой кисточкой, бережно, как художник-миниатюрист, переносит желтую цветочную пыльцу из чашечки одного цветка в чашечку другого. Вид у него при этом сосредоточенный, губы вытянуты в трубочку, глаза сощурены в щелочки под косматыми рыжими бровями.

Он давно примелькался и хорошо известен в своем небольшом районе, ограниченном лавками: мясной, молочной, бакалейной, табачной, булочной и тем угловым бистро[1] мадам Бюссак, куда он изредка заходит выпить у блестящего жестяного прилавка стаканчик вермута пополам с водой. Все еще издали узнают его длинную худую фигуру, его развевающуюся на ходу серую клетчатую размахайку, носившую когда-то, в

---

[1] Примечания: 1
Ресторанчиком (от *фр.* bistro).

древние времена, название не то макфарлана, не то пальмерстона, его рыбачью широкую шляпу, насунутую так низко на брови, что из ее спущенных вокруг полей торчат спереди лишь конец крупного мясистого носа и огненная с сединой борода утюгом.

Прежде французские лавочники раздражались на профессора за его рассеянность, разводили руками, хлопали себя по бедрам, кричали свое нетерпеливое «alors!»[2] и вообще пылили, но теперь попривыкли и благодушно поправляют его, когда он забудет взять сдачу, заберет чужой сверток вместо своего или собирается уходить, не заплативши, — с ним такие мелкие ошибки случаются десять раз на дню. Он приятен тем, что в его обращении с людьми много независимости, легкости и доброго внимания. Совсем в нем отсутствуют те внешние черты унылости, удрученности, роковой подавленности, безысходности, непонятости миром — словом, всего того, что французы считают выражением «ам сляв»[3] и к чему их энергичный инстинкт относится брезгливо.

---

[2] Примечания: 2
Ну, что же! *(фр.)*

[3] Примечания: 3
Славянской души (от *фр.* L’ âme slave).

Профессор входит в лавку. Левую руку протягивает через стойку хозяину для пожатия, правой издали посылает приветствие хозяйке и бодро здоровается со всеми присутствующими:

— Мсье, да-ам!..

— Мсье! — произносит несколько голосов из-за газет.

Порядок непременно требует справиться у патрона: идет ли? Оказывается — идет. Теперь профессору нужно сделать самое неожиданное открытие:

— Но какой прекрасный день!

Или:

— Ах, какой дождь!

— О да! — убедительно подтверждает патрон и, в свою очередь, с неизменной улыбкой осведомляется у Симонова: — Тужур промнэ?[4]

Вот этого-то профессорского «тужур промнэ» французы никак не могут осмыслить, несмотря на всю их любезность к Симонову. Как это он позволяет себе прогуливаться и, по-видимому, совсем праздно — в часы, вовсе не приспособленные для прогулки. Каждый порядочный француз — а они все порядочны — отлично знает, что

---

[4] Примечания: 4

Все прогуливаетесь? (От *фр.* Toujours promenez?)

гулять можно только по воскресеньям. Поэтому в будни они если не сидят в своих лавках и бюро, то либо бегут в них, либо возвращаются бегом домой. В семь часов утра весь работающий Париж плескает себе в нос воду из умывального таза, в десять часов вечера каждый честный буржуа уже в постели.

Профессор же снует по улицам без всяких почтенных причин и утром, и днем, и поздно ночью. Это удивительно. Все-таки — ам сляв.

Профессор и сам понимал, что это удивительно. И чувствовал какую-то неловкость перед французами, чувствовал себя трутнем среди трудолюбивых пчел. Но как же мог он объяснить и оправдать свое уличное слоняние?

Сказать, что у него три урока в трех разных домах. Но французы совсем не имеют понятия о частных уроках. Какая блажь! Чтобы учиться — на это существуют прекрасные бесплатные коммунальные школы и великолепные лицеи. Какой же дурак будет выбрасывать деньги на приватных учителей.

Объяснить им, что он пишет научные статьи и привык их обдумывать на ходу, да еще на очень резвом ходу. Между тем как на чердаке не очень-то разбегаешься?

Но они опять поднимут плечи до ушей и возразят:

— Alors!.. Наши инженеры сидят в своих ателье и думают определенное число часов в день. То же делают в своих бюро ученые, поэты, купцы, адвокаты. И все они думают обязательно сидя. Никто из них не позволит себе ради размышлений бегать по улицам, а если некоторые и допускают себя до подобного легкомыслия, то они сами виноваты, если их давят автомобили. Улица не для философов и ротозеев, а для пешеходов. Вуаля ту[5].

«А ведь они правы», — думает с кротостью профессор. Он сам иногда переходит через улицу, позабыв обо всем на свете, кроме течения своих мыслей, и, когда над его ухом рявкнет оглушительно автомобиль, он так и затрепыхается от испуга и обольется холодным потом. Шофер, объезжая, поливает его черной руганью, а сердце потом колотится долго-долго.

---

[5] Примечания: 5
Вот и все (от *фр.* Voilà tout).

II

Уроки и статьи в обрез обеспечивают его аскетическое существование, но для кафедры Симонов уже пропал. Он не потерял своего славного имени, но как бы растратил, расточил, размотал его. Пять-шесть старых коллег еще помнят его блестящие лекции в Москве на естественном факультете и в Петровско-Разумовской академии, по физике, органической химии и дендрологии.

У него были все возможности для того, чтобы стать звездою в ученом мире, но он не успел ни создать своей школы, ни написать хоть одной строго научной книги. Карьера его сникла и оборвалась по четырем причинам или, вернее, по четырем отрицательным свойствам ума и характера. Он не обладал настойчивостью в обработке мелочей. Он был лишен профессионального честолюбия. Он был неуживчив вследствие своей прямолинейности и гордости. Он не мог утолить своей яростной неутомимой жажды знания одним предметом или дисциплиной, он хотел знать все, что доступно человеческим умам, и даже больше.

Быстро загораясь и так же быстро охладе-

вая, — о чем только он не писал замечательных докладов и прекрасных популярных статей. Где только он не читал образцовых по красоте и образности лекций. Каких только служб и профессий он не переменил, исколесив всю Россию от Владивостока до Мурмана и от Архангельска до Баку. Кто-то назвал его Дон Жуаном науки. Но он был и ее Дон Кихотом.

У него можно было навести справки обо всяком предмете, явлении, имени, событии. Но ум его не был лишь механическим хранилищем, кладовой знаний. Симонов обладал большим даром синтетического прозрения. Часто он говорил или писал в случайных статьях о будущих завоеваниях науки. И когда, спустя десятки лет, его летучие догадки находили твердо обоснованное научное подтверждение, он говорил добродушно:

— Я бродяга. Я бросал своих детей голыми на больших дорогах и шел дальше. Мне приятно видеть их теперь большими мужчинами, с густыми бородами, в золотых очках. Но родительской нежности к ним я не чувствую: любовь была слишком пылка и слишком скоропреходяща.

В 1885 году, исходя от греческих философов, он носился с теорией относительности. В 1889 году он доказывал, что человеческий мозг — элек-

трическая батарея, беспрерывно посылающая в пространство вибрирующие волны, которые, утверждал он, в недалеком грядущем будут улавливаться особо чуткими приборами. В 1893 году, будучи лесным ревизором Рязанской губернии, он вычерчивал и вычислял построение биплана со взрывным нитроглицериновым мотором. В 1901 году он разрабатывал проект аппарата, переносящего на расстояние зрительные изображения. В 1907 году он напечатал в одном английском ревю парадоксальную статью: о кажущемся беспорядке в строении видимого звездного мира, а также толкованиях апокалипсиса и тому подобное.

Профессор живет почти один. Когда-то была жена, были две дочери, был хоть и походный, как скиния, но любимый дом... И все это пошло, поехало кувырком... Не стоит о прошлом... Рана давно отболела. Остался в душе толстый, грубый рубец, который, подобно старческим ревматизмам в непогоду или пулевым ранам, дает о себе знать изредка, в бессонную ночь, когда всякие глупости лезут в голову.

Но все-таки он не так уж безнадежно одинок. Два года назад, зимою, дождливыми полусумерками, к нему в открытое окно пробрался с крыши

полудикий кот — черный, длинный, худой, наглый, — настоящий парижский апаш кошачьей породы. Никогда еще в своей жизни не видал Симонов ни человека, ни животного, которые носили бы на себе такое несчетное количество следов бывших отчаянных драк.

Кот требовательно мяукал, распяливая свой рот в узкий ромб, яростно блестя пронзительными зелеными глазами, судорожно царапая когтищами край подоконника. Профессор поставил ему на стол блюдечко скисшего молока с хлебом и остатком жареной грудинки. Кот поел, муркнул что-то вроде небрежного «спасибо» и в один прыжок очутился снова на крыше.

На другой день он пришел днем. И не только погостил около часа; даже, с нескрываемой брезгливостью, позволил слегка себя погладить. Потом зачастил. По целым дням спал, как собака, на голом полу, а вечером исчезал по своим темным и опасным делам.

Порою он не показывался по неделям и тогда приходил сильно потрепанным, часто хромым, с новыми шрамами, с разорванным надвое ухом. Симонов звал его Пятницей, и часто по ночам, когда наверху грохотала железная крыша и неслись к небу раздирательные кошачьи вопли, он

думал: «Это мой Вандреди[6] там воюет».

Пожалуй, их отношения можно было бы назвать дружбой. В дружбе один всегда смотрит хоть чуть-чуть сверху вниз, а другой снизу вверх. Один покровительствует, другой предан. Один великодушно принимает, другой радостно дает. Первым был, конечно, кот. Это он нашел профессора, а не профессор его. В области перемещения в трех измерениях кот был несравненно щедрее одарен природою, чем профессор. Профессор уже устал от жизни, хотя продолжал любить и благословлять ее, — кот жил всей кипучестью одичавших страстей: любовью, драками, воровством, убийством. Кот знал и умел делать тысячу вещей, которые были совсем недоступны профессору.

Разве мог бы профессор поймать зубами хоть самого маленького мышонка. А кот однажды утром притащил в мансарду пойманную и задавленную им на улице огромную рыжую крысу, из тех злобных чудовищ, что живут в водосточных каналах и никого не боятся. Когда профессор отворил ему окно, он со стола бросил прямо на пол, к ногам слабого человека, труп побежденного врага. И

---

[6] Примечания: 6
Пятница (от *фр. vendredi*).

столько было силы в черной окровавленной морде, столько гордости в глазах, то расширявшихся, то сжимавшихся от волнения, что Симонов совершенно серьезно шаркнул ножкой и сказал:

— Очень вам благодарен.

По происхождению своему кот был гораздо древнее профессора, чему есть неопровержимое доказательство в первой главе Библии. Кроме того, род кота был еще и знатнее: в те седые времена, когда предки его почитались, как священные животные, великим и мудрым народом, — прапрапращур профессора дрожал, голый, в пещере, слышал гром с неба и впервые, в потугах корявой фантазии, придумывал себе бога.

Иногда человек и зверь подолгу глядели в глаза друг другу: человек первый уступал перед суровым, пристальным, как будто бы видящим сквозь материю и время взором. Тогда и кот лениво сощуривал зеленые глаза и сокращал круглые черные зрачки в узенькие щелочки. Разве он унизился бы до борьбы с профессором взглядами. Он просто показал зазнавшемуся человеку его место во вселенной и сделал это со спокойным достоинством.

Но бывали изредка и минуты равенства, даже некоторого преобладания человека над зверем.

Это случалось в душные вечера пред ночной грозою, когда неподвижные, набухающие облака свинцовеют и чернеют и воздух сухо пахнет, как при ударе кремня о кремень.

В такие дни кот приходил рано, возбужденный, тревожный, пересыщенный накопившимся в нем электричеством. Он то ложился, то вставал и бродил по темным углам, выпускал и прятал когти, кончик его облезлого хвоста коротко и нервно вздрагивал. А если профессор слегка проводил рукою по его спине, то вздыбленный мех трещал и сыпал голубые искры, пахнувшие морским ветром. Тогда жалостно тыкался кот носом в профессоровы колени и беззвучно мяукал, широко и умильно раскрывая рот. Здесь человек пересиливал зверя.

Иногда, во время прогулок по Булонскому лесу, Симонов замечал Пятницу где-нибудь в траве, за деревом, между кустами: вероятно, здесь были места его охоты за лесными мышками, птенцами и, ночью, за спящими птицами. Конечно, кот успевал увидеть профессора еще раньше, но, должно быть, под открытым небом он стыдился признаваться в своем знакомстве с ним.

Был у Симонова еще один приятель — пожилой художник, бывший когда-то его слушателем в

Петровской академии. С ним вместе они, случалось, ходили по воскресеньям в обжорку на Ваграме, а иногда, утром или вечером, бродили по «Буа-де-Булонскому лесу», как называл его художник. Бродили и разговаривали. Профессор описывал вслух красоту природы, — художник помалкивал и посвистывал. Но когда живописец яро пускался в философию и политику — профессор молча отмахивался рукой.

III

Вчера, возвращаясь домой, профессор Симонов видел, как далеко за черными деревьями и кустами Булонского леса пламенели и тлели красные угли вечерней зари, а над лесом, по правую руку от Симонова, стоял серебряный обрезок молодого месяца.

«Месяц ясный, небо чистое, заря рдяная — значит, завтра будет ветер», — подумал профессор и, вынув из жилетного кармана франк, показал его заново отчищенному, блестящему серпику... Новая луна приходилась справа: к прибыли.

У него вовсе не было предрассудков, но он любил всякие старинные обычаи и привычки — пусть даже и вздорные, — как крепкое утверждение простого и полного быта. Он говорил иногда, что приметы идут впереди точного знания, а наука о душе — позади суеверия.

И правда, сегодня дует сильный северо-западный ветер. Отворив рано утром окно, чтобы выпустить черного кота, случайного ночлежника, на волю, Симонов увидел, как широко раскачиваются на той стороне улицы вершины диких платанов, и ясно почуял отдаленный,

еле уловимый, кисловатый, волшебный запах океана. Жаль, что нельзя выходить из дома так рано, как хочешь. Это запрещено по неписаному договору с консьержкой, которая, кстати сказать, всегда услужлива и любезна с русским чердачным жильцом. Но однажды в разговоре с ним она как-то вскользь сказала:

— О мсье, мы не жалуемся на то, что нам, консьержкам, приходится отворять на звонки до глубокой ночи. Alors! Это маленькое неудобство нашей профессии. Но в утренние часы, так от трех до семи, — мой самый сладкий сон, и я очень огорчаюсь, если меня в это время беспокоят по пустякам.

Часов у профессора не было, то есть была старинная золотая луковица, но она временно гостила в другом месте и, несомненно, в дурном обществе. Профессор хорошо обходился и без часов, своими собственными отметами времени. Он знал, что в три часа хриплыми, мокрыми со сна голосами перекликнутся петухи, которых очень много водится во дворах просторного, провинциального Passy. Позднее, перед рассветом, начнут около домов чокать и посвистывать черные дрозды; с восходом солнца они улетят в лес и в скверы. В шесть — опять закричат, навстречу солнцу, уже

совсем проснувшиеся, свежие, бодрые петухи. В шесть с четвертью пронесется, потрясая почву, первый поезд окружной дороги. В половине седьмого приедут мусорщики на длинном грузовике с железной полуцилиндрической крышкой. Забирая из выставленных на улицу ящиков и ведер всякую грязную дрянь, накопившуюся за сутки, они будут сипло и непонятно ругаться по-овернски и по-итальянски. В семь без четверти донесется издалека низкий, протяжный, трубный звук, и его тотчас же подхватит многое множество разноголосых гудков и свистков. Это фабрики и заводы кричат рабочим: «Скорее! Скорее! Через контрольную будку! А то пропадет полдня и половина заработка». Они повоют с полминуты и умолкнут. Наступит последний промежуток легкой и короткой тишины.

Профессор поднялся, всунул руки в крылья своей серой разлетайки, надел шляпу со свисающими, как у рыболовов, полями и стал ждать того странного момента, который на него всегда производил впечатление жестокого и могучего чуда и который можно наблюдать ежедневно только из немногих окраин Парижа.

Сейчас ему казалось, что Париж набирает в грудь воздух, собирает мускулы, как гонец перед

дальним бегом...

И вот вдруг огромный город, точно двинутый электрическим толчком, вышел мгновенно из утреннего оцепенения, раздохнулся и сразу весь вылился из домов на улицы, наполнив их тем сплошным, ни на секунду не прекращающимся гулом, который, привычно неслышимый для ушей, целый день висит над Парижем, так же как целую ночь стоит над ним в небе красно-желтое зарево от электрических огней; смешанным гулом, слитым из рева вздохов, стонов и трескотни автомобилей, грохота телег и грузовиков, стука лошадиных подков, шарканья ног, звонков и завываний трамваев, множества человеческих голосов...

— Заворчал апокалипсический зверь, — сказал вслух профессор и стал спускаться по винтовой лестнице «для прислуги».

IV

По бульварам и улицам уже бежали девушки из молочных в белых передниках с раздутыми пышными рукавами, прихваченными в запястье кожаными браслетами. На каждой руке, на каждом пальце у них были нанизаны металлические дужки молочных бутылок; жидкое мелодичное позвякивание наполняло весь квартал. Ветер трепал и путал волосы над свежими, только что вымытыми розовыми личиками молочниц, и, глядя на них, профессор с удовольствием думал: «Как милы, как четки, как хороши люди в ясное утро, на воздухе... Это, вероятно, потому, что они еще не начали лгать, обманывать, притворяться и злобствовать. Они еще покамест немного сродни детям, зверям и растениям. Да, это славная истина: не потеряет тот, кто рано и в должный час выйдет из дома. И какой сладкой прохладой тянет из Булонского леса».

Симонов делал свои ежедневные скромные покупки. Купил хлеба в булочной на площади Ля-Мюетт (бонжур, мсье, да-ам), пшена, муки и

соли в бакалейной (За va? — За va![7]), четверть кило свиной грудины («Какой прекрасный день!» — «Но ветер». — «Вы, французы, всегда недовольны погодой. Ветер очищает воздух!»), зашел в мясную купить для Пятницы на пятьдесят сантимов бараньей печенки (Тужур промнэ, мсье?) и тотчас же, глядя на патрона, толстого, крепкого, полнокровного брюнета с малиновыми щеками, подумал: «А ведь это замечательно, что во всем мире самый цветущий вид у мясников, у колбасниц и у служащих на бойнях. Должно быть, это от постоянного вдыхания испарений здорового мяса, сала и крови. Будь я доктором, я вместо всяких вонючих пилюль и модных курортов посылал бы малокровных пациентов, этак на год, на службу в колбасную лавку».

Теперь фуражировка окончена; кот и человек обеспечены едою на сутки; расход не превысил четырех франков; следует идти домой, заваривать чай.

Но, не доходя четырех домов до конца улицы Renelagh, профессор вдруг останавливается, уткнувшись носом и рыжим клином бороды в железную решетку, ограждающую от улицы чей-

---

[7] Примечания: 7
Идет? — Идет! *(фр.)*

то палисадник, прилипает к одному месту и так стоит неподвижно целых десять минут, с длинным хлебом под мышкой. Он немного затрудняет деловое, торопливое движение пешеходов на узком тротуаре, но к его странностям давно уже привыкли в этом квартале: кое-кто, проходя, пожмет плечами, растопыривши локти, другой, весело прищурив один глаз, кивнет головою, женщина пройдет и раза два неодобрительно обернется назад.

Между черным кружком решетки и столбом газового фонаря, всего на пространстве трех-четырех квадратных вершков, паук сплел свою воздушную западню, и от нее-то не может оторваться профессор, забывший в эти минуты о времени, о месте, о чае, который надо кипятить, и о коте, которого надо кормить.

Это плетение из тончайших в мире нитей представляет собою прелестную спираль, перетянутую расходящимися от центра радиусами, прочно укрепленными в местах соединений. Радужным бисерным сиянием отсвечивают на солнце почти невидимые нити. Наклонишь голову налево — радуги побегут вправо; наклонишь направо — они закружатся влево, блестя и ломаясь углами на перехватах.

По улице носится порывистый шальной ветер. Под его капризными ударами вся нежная паутинная постройка, сверкая радугой, вздрагивает, трепещет и вдруг упруго надувается, как переполненный ветром парус.

Весь захваченный почтительным восхищением перед этой великолепной живой постройкой, профессор комкает в кулаке рыжий утюг своей бороды.

Самого архитектора не видно. Он, должно быть, очень мал или искусно спрятался. Какую громадную массу строительного материала вымотал он из своего почти невесомого тела.

Сколько бессознательной мудрости, расчета, находчивости и вкуса вложено сюда. И все это ради одного дня, может быть, одной минуты, ради ничтожной случайной цели.

«Как богата природа, — размышлял почтенный профессор, — с какой щедростью, с каким колоссальным запасом она одаряет все ею созданное средствами к жизни и размножению. На старом сибирском кедре до тысячи шишек, в каждой до сотни орешков, а конечная цель — всего лишь одно зернышко, случайно попавшее в земную колыбель, лишь один росток слабой жизни, которой грозят тысячи гибелей. Но зато и кедров

не один, а миллионы, и живут они, ежегодно оплодотворяясь, многие сотни лет, и все кедры — порука за род.

В хорошем осетре — пуд икры, миллионы икринок, но конечная цель природы будет блестяще достигнута, если из этого количества зародышей вырастает хотя бы десяток рыб. Пара мух, если бы яички самки оставались неприкосновенными, расплодили бы за одно лето такое потомство, которое покрыло бы всю землю сплошь, как теперь ее покрывает человечество, разросшееся не в меру».

«Да, — думает профессор, — жизнь есть благо. Благо, и размножение, и еда. Но и смерть так же благо, как все необходимое. Мечта о человеке, который победит наукою смерть, — трусливая глупость. Микробам так же надо есть и размножаться и умирать, как и всему живущему.

И как разнообразно вооружила природа все существа для борьбы за жизнь. Панцири, клыки, жала, пилы, иглы, насосы, яды, запахи, самосвечение, ум, зрение, мускулы. Кто видел блоху под микроскопом, тот знает, какое это страшное, могущественное, неимоверно сильное и кровожадное создание... Будь она ростом с человека, она перепрыгнула бы через Монблан и уничто-

жила бы в несколько секунд слона.

Или вот этот паучишко... Какой сильный ураган выдерживает теперь его прекрасная воздушная сеть. Ну разве можно хоть в малейшей степени сравнить это божественное сооружение с таким жалким и грубым делом рук человеческих, как Эйфелева башня, столь похожая в туманный день на бутылку от нежинской рябиновой? Во сколько раз Эйфелева башня тяжелее, прочнее и долговечнее легкой паутины? Это немыслимо высчитать, — получится число со столькими знаками, что их не упишешь в одну строку самым мелким почерком. Возьмем, однако, для простоты, скромный, ничтожный миллиард.

Положим, я обозначу то давление ветра, которое испытывает теперь паутина, четырьмя баллами, по метеорологическому исчислению. Тогда для того, чтобы Эйфелева башня испытывала то же самое давление ветра, как паутина, надо это давление увеличить пропорционально силе сопротивляемости башни, то есть до четырех миллиардов баллов. Это великолепно! Ветра силою в сорок баллов не может себе представить воображение человека. Ураган в четыреста только баллов в одно мгновение свалил бы Эйфелеву башню, как картонный домик, как здание из со-

ломинок, и сбросил бы этот мусор в Сену. Нет! Он сдунул бы весь Париж и помчал бы его камни, его развалины на юго-восток. Он выплеснул бы всю воду из рек и разбрызгал бы моря по материкам. Да, уж конечно, не паук строит лучше инженера, но природа строит крепче и мудрее всех инженеров мира, взятых вместе, — природа — одна из эманаций Великого, единого начала, которому слава, поклонение и благодарность, кто бы оно ни было».

V

На этом месте своих отвлеченных размышлений профессор вдруг перестал комкать рыжую бороду. Уже давно, в то время как его сознательное «я» занималось построением пропорций, — его «я» подсознательное ощущало какое-то смутное беспокойство в правой руке. Профессор склоняет голову направо и вниз. Действительно, в его сжатой ладони спокойно лежала маленькая шершавая ручонка, а рядом с ним стояла девочка лет пяти-шести, ростом немного повыше его бедра. Как он мог не почувствовать этой детской лапки, прокравшейся в его руку? Впрочем, с ним бывали случаи еще более странные. В Гельсингфорсе он зашел однажды в парикмахерскую, где, обыкновенно через день, очень ловкая женщина-парикмахер обравнивала его бороду и подстригала волосы на щеках машинкой ОО.

Он ни разу в жизни не брился.

В этот день, садясь в кресло, он молча показал рукой на обе щеки и даже не заметил, что вместо знакомой парикмахерши над ним хлопочет какой-то новый мастер. Он и до сих пор помнит, какой предмет захватил тогда его внимание. Еще

по дороге в парикмахерскую ему пришло в голову, что почти все человеческие лица, — особенно мужские, — можно при всем их кажущемся бесконечном разнообразии разделить по внешнему сходству на несколько сотен, а может быть, даже и десятков определенных типичных групп. И вот, сидя в кресле, повязанный по горло белым полотенцем, глядя прямо на свое отражение в зеркале и не видя его, он так увлекся вызыванием в зрительной памяти всех знакомых ему мужских физиономий, что совсем не замечал, как парикмахер опенивал мылом обе его щеки. Он опомнился только тогда, когда перед его глазами блеснуло губительное лезвие бритвы.

В тот самый миг, когда профессор увидел девочку, она тоже очнулась, отвела свой взгляд от паутины и устремила его вверх, в глаза странного, большого старого человека. Указательный палец правой руки еще оставался у нее во рту, прикушенный острыми беличьими зубками, — известный знак напряженного внимания и удивления.

У нее был смуглый кирпично-бронзовый цвет лица; по его крепкому румянцу и золотому загару пестрели грязные следы размазанных слез и липкие, блестящие пятна от конфет. На ней был

затрепанный балахончик ярко-канареечного цвета, что-то вроде мешка с пятью отверстиями для головы, голых рук и ног, очень тонких и светло-шоколадного цвета, в соломенном пуху. Прямые, жесткие, черные — в синеву — волосы падали ей на лоб и на виски, как у японской куклы. Впрочем, было нечто если и не японское, то все-таки восточное в ее черных сладких глазах, нешироких и прорезанных чуточку вверх от переносья. У нее был длинный, но красивый рот, всегда сложенный как бы в полукруглую улыбку, немного козьего рисунка, с очень сложным выражением доброты и лукавства, застенчивости и упорства, ласки и недоверия.

Тут только девочка и сама заметила, что ее рука нечаянно попала в плен. Ни дети, ни молодые домашние животные не переносят, когда их члены лишены свободы. Миленькие обезьяньи пальчики вдруг все пришли в движение. Они стали точно крабом или большим жуком со множеством лапок, и эти лапки начали упираться, отталкиваться, изворачиваться, пока, наконец, не вывинтились на свободу из кулака.

— Как ваше имя, прекрасное дитя? — спросил Симонов.

— Жанет, — ответила девочка и, показав голо-

вой на паутину, сказала: — Это очень красиво! Не правда ли?

— Очень красиво.

— Кто это сделал?

— Паук. Такое насекомое.

— Зачем сделал?

— Чтобы ловить мух. Летит маленькая мушка и не замечает этих ниточек. Запуталась в них, не может никак выбраться. Паук видит. Пришел и съел мушку.

— А зачем?

— Потому что он голодный. Хочет есть.

— А он большой? Где он?

— Подожди, я попробую его позвать.

Профессор роется в карманах разлетайки, наполненных тем мусором, которым всегда полны карманы рассеянных мужчин, лишенных зоркого женского досмотра, достает измятый обрывок бумажки и, выждав короткую передышку ветра, начинает нежно щелкать ее уголком нити паутины. Из-за черного железного прута медленно высовываются две тонкие ножки, коленчатые ножки паутинного цвета, за ними виднеется что-то бурое, мохнатенькое, величиною чуть побольше булавочной головки. Профессор и Жанета переглянулись. Лица у них сосредоточены, как

у двух соучастников важного дела, требующего особой осторожности. Но паук, тоже не торопясь, складывает свои ножные суставы и втягивает их назад.

— Ушел, — шепчет профессор.

— Да-а. Он — хитрый. Он увидел, что это мы, а не муха.

— Где же ты живешь, Жанета?

— Здесь и там.

Она указывает пальцем сначала на соседний дом, потом вдоль улицы на газетный киоск и поясняет:

— Здесь мы спим, а там продаем газеты.

— Почему же я тебя раньше не видел?

— Я была в деревне. Только вчера приехала. Но вас я давно знаю, еще до деревни. Вы очень смешной.

— Много благодарен. Пойдем, дитя мое, со мной, я куплю газету.

Он берет ее за руку. Теперь ручка девочки доверчива, но живые пальцы не могут не шевелиться и не подрагивать: так много в них электрического чувства свободы.

Газетный киоск втиснулся между забором железной дороги и перекинутым через нее воздушным мостиком. Это — деревянная будочка с

квадратным оконцем и наружным прилавком, на котором газеты лежат стопками, прихваченные сверху, чтобы не развеял ветер, свинцовыми полосами. Коричневых стен киоска почти незаметно из-за множества покрывающих их иллюстрированных журналов, сцепленных между собой деревянными прачечными защипками. По обе стороны прилавка — два ящика с покатыми стеклянными крышками. В них различный мелкий товар для подсобной грошовой торговли: иголки, булавки, катушки, мотки шерсти, наперстки, шпильки, кружки ленточек и тесьмы, карандаши, вязальные крючки, блокноты, пуговицы роговые, деревянные, костяные, наконец, конфеты в фольге, в бумажках и простой леденец. Внутри домика есть переносная железная печь с плитою. Над крышей высится коленом черная жестяная труба. Когда из этой трубы валит дым, Симонову кажется, что вот-вот киоск-вагончик засвистит и вдруг поедет.

К киоску прислонена, загромождая тротуар, детская клеенчатая, сильно подержанная коляска с откинутым верхом, в каких возят годовалых детей. Вся она полна разной игрушечной, отслужившей свой век инвалидной рухлядью. Тут и плюшевые мишки, и коричневые суконные

обезьянки с глазками из черных бисеринок, и рыжие курчавые пудели, и головастые разноглазые бульдожки, и дырявые слоны из папье-маше, и множество полуодетых и вовсе голых кукол, иные без волос и без носов, иные с вылезшими наружу паклевыми и стружковыми внутренностями.

— Очень хорошо, не правда ли? — шепнула ему Жанета.

— Великолепно!

— Это все мое.

— О!

Надо было что-нибудь купить. Заманчиво кинулся в глаза иллюстрированный сельскохозяйственный журнал большого формата, довольно толстый, с двумя серыми гривастыми мохноногими орденами на голубоватой обложке. Но устрашала цена в два франка пятьдесят сантимов. Газет он не читал, ни русских, ни иностранных. Газеты, говорил он, это не духовная пища, а так, грязная накипь на жизни-бульоне, которую снимают и выбрасывают. По ней, правда, можно судить о качестве супа, но я не повар и не гастроном. А если произойдет нечто исключительно важное, то все равно кого-нибудь встретишь — и расскажет. Газеты тем и сильны, что дают людям праздным, скучным и без вооб-

ражения на целый день материал для пересказа «своими словами». Пришлось взять листок с первой попавшейся стопки — оказался «Journal des Débats». Когда он расплачивался, маленькая жесткая ручка убежала и больше не вернулась.

Профессор начал было рассказывать о пауке, но у него не вышло... Газетчицу интересовали не пауки, а сантимы, и она не слушала. Это была небольшая, полная, еще цветущая женщина, с значительной долей еврейской или цыганской крови в жилах, далеко не такая смуглая и черноволосая, как Жанета, и совсем на нее не похожая. Общее у них было только в рисунке рта, но не в выражении. Глядя на беззастенчивый рот матери, казалось, что она недавно крепко поцеловалась с мужчиной, и опухшие губы по забывчивости еще сохранили форму поцелуя.

Кроме того, что она, как и все французы, была очень нетерпелива, — она бывала еще груба со своими клиентами и нередко покрикивала на них. Особенно доставалось от нее ее ami[8], — должно быть, слесарю, механику или водопроводчику, судя по лицу, всегда перепачканному глянцевитой гарью. Она держала его в строгости.

---

[8] Примечания: 8
Дружку *(фр.)*.

Но в воскресенье, расфранченные, они прогуливались по лесу, присаживаясь на скамейках, несмотря на публику, обнимались с той свободной откровенностью, какая повелась в Париже со времен войны.

— До свиданья, мадам, — сказал профессор. — Ваша Жанета очаровательный ребенок.

Газетчица почти рассердилась.

— О, вовсе нет, мсье, вовсе нет. Она — дьявол.

— Мадам, разве можно так про ребенка?

— Я вам говорю, что она дьявол. Она злая, она очень злая... Она дьявол.

И вдруг без всяких переходов:

— Поди ко мне, поди скорее, моя крошка.

Когда Жанета протиснулась к ней через узенькую боковую дверцу, она посадила ее на свои колена, притиснула к своей пышной груди и стала осыпать бешеными поцелуями ее замурзанную мордочку, а в промежутках ворковала стонущим, нежным, голубиным голосом:

— О мой цыпленок, о мой кролик, о моя маленькая драгоценная курочка, о моя нежно любимая!

«А через три минуты она опять ее за что-нибудь нашлепает, — подумал, уходя, профессор. — Такие страстные, нетерпеливые матери — только француженки и еврейки».

Черный кот встретил Симонова странно-холодным и точно недружелюбным взором. «Это оттого, — подумал профессор, — что я опоздал». Кот съел свою порцию грудинки с необыкновенной жадностью и быстротою. Но, окончив еду, он не лег, против давнишней привычки, на полу, в золотом теплом солнечном луче. Он тяжело прыгнул на стол, выгнул спину вверх, по-верблюжьи, и проницательно, с яростной враждой уставился большущими зелеными глазищами в глаза профессора.

— Ты что, брат Пятница? — Профессор нагнулся, чтобы его погладить, и протянул руку. Но кот не позволил. Он злобно фыркнул, мгновенно повернулся к человеку задратым кверху хвостом и в два упругих прыжка очутился на карнизе и на крыше.

— Сердится, — сказал смущенный профессор и мотнул головой. — Но за что?

Проходят день и ночь. Наступает мутное и сухое утро. В полдень Симонов смотрел на флюгер чужой виллы. Стрелка его ни на мгновение не оставалась в покое. Она капризно, с разными скоростями вертелась то по солнцу, то против солнца, по всем тридцати двум румбам. В четыре пополудни стало жарко.

— Ну и здоровенная же будет нынче гроза, — сказал самому себе вслух профессор, выходя из дома. — Ого, уже начинается.

И правда: людям и животным не хватает воздуха. У них сохнут губы, языки и горла и кровью набухают затылки. Порывистый, изменчивый южный ветер сирокко не приносит облегчения, а только обдает на мгновение огненным дыханием, летящим из Сахары.

Сорванные с пешеходов соломенные шляпы, котелки и фетры катятся ребром по пыльной мостовой, а за ними козлом скачут люди с развевающимися полами пиджаков. Безобидно смеются зрители. Смеются и сами пострадавшие, крепче натягивая шляпы на затылки. Зонтики с треском выворачиваются спицами вперед. Женские юбки тюльпанами вздымаются вверх или вдруг тесными морщинами облипают груди, животы, бедра и ноги. Женщины идут против ветра, нагнувшись, низко склонив головы, прихватывая левой рукой шляпку, а правой непослушные легкие одежды.

В Булонском лесу этот взбалмошный ветер раскачивает, треплет, рвет и ерошит старые, могучие, шумящие деревья и крутит их шипящие от злобы вершины, как половые метлы. Он

то заголит всю листву на светлую изнанку, то внезапно перевернет ее на темное лицо, и от этой размашистой игры весь лес то мгновенно светлеет, то сразу темнеет. И весело переплетаются в листве, на зелени газонов, на желтом песке дорожек узорчатые подвижные пятна золотого солнца, голубого неба и дрожащих теней.

Под широким шатром могучего разлатого каштана, лицом к ветру, сидит человек в сером балахоне, так низко опустивший грудь и голову, что проходящим, из-под его рыбачьей шляпы, виден только кончик его огненно-рыжей седоватой бороды. Этот кончик он иногда задумчиво пощипывает двумя пальцами, иногда рассеянно сует в рот и пожевывает. Прохожие с легкой улыбкой замечают также, что порою этот большой, живописный старик вдруг то ударяет себя кулаком по колену, то пренебрежительно пожимает плечами и резко вскидывает голову, то гневно стукнет палкой по земле: дурные привычки людей, умеющих думать не поверхностными, случайными обрывками мыслей, а глубоко и последовательно.

Но прохожим только так кажется, что здесь, на зеленой скамейке, сидит всего один человек. Им ни за что не догадаться, что близ них ведут

бестолковый и неприятный семейный разговор два совершенно разные существа, неразрывно спаянные в одном человеческом образе. Первый — профессор химии, физики, ботаники, физиологии растений, ученый лесовод и лесничий, дважды доктор honoris causa[9] европейских университетов, вечный старый студент, фантазер, непоседа, святая широкая душа с неуживчивым характером, бессребреник и ротозей. Другой — просто Николай Евдокимович Симонов и больше ничего, человек, каких сотни тысяч, даже миллионы на свете. Николай Евдокимович знает очень и очень многое. Ему, например, известно, что в ожидании дождя порядочные люди берут с собою зонтики, выходя на улицу, что, возвращаясь поздно ночью домой, надо непременно без грохота затворять за собою входную дверь, что лестницы для того обнесены перилами, чтобы за них держаться, что каша, сало, чай, квартира и прачка требуют оплаты, что автомобиль на крутом повороте способен свалить с ног замечтавшегося зеваку. И еще бесконечное количество подобных умных и полезных законов. Наконец, как важнейший параграф домашнего катехизиса,

[9] Примечания: 9

Ради почета (*лат.* выражение, означающее получение ученой степени без защиты диссертации).

он исповедует строгую истину о деньгах. Деньги чеканятся круглыми для удобного ношения в кошельках, а вовсе не для того, чтобы легче было пускать их ребром катиться по свету, и наоборот: им придана плоская форма, дабы красивее было их складывать в стопочки перед тем, как, пересчитав, отнести в солидный банк.

Профессор неохотно прислушивается к премудростям Николая Евдокимовича и свысока презирает их, как временные и скучные. Николай Евдокимович осуждает щедрость, безалаберность и глупую доброту профессора, ворчит, кряхтит, журит его и даже позволяет себе иногда осторожно поехидничать. Профессор говорит ему «ты», как раньше говорил престарелому сторожу, служившему тридцать лет при лаборатории. Здесь старая привычка, ласковая фамильярность, покровительственная интимность… Николай Евдокимович говорит «вы» и «господин профессор» с оттенком бережной заботы и почтения, но иногда и с поучительностью старой привязанной няньки.

Сидят теперь оба в Булонском лесу, на железной зеленой скамейке, и ведут беззвучный разговор, и временами профессору кажется, что беспокойные деревья с трепетом прислушиваются к этой

беседе и принимают в ней тревожное участие.

VI

Профессор вытягивает перед собой небольшую, но мясистую ладонь правой руки, всю исчерченную, изрезанную, изморщенную множеством переплетающихся линий, бугров и трещин. Такая рука, вылитая в бронзе, есть только у Бальзака, в музее его имени в Париже, на улице Raynouard, рука великого человека, все знавшая, все испытавшая, все ощупавшая, все испробовавшая, все измерившая и взвесившая и тем не менее прекрасная и живая даже в металле.

Профессор Симонов любит Бальзака больше всех иностранных авторов и нередко посещает его скромный музей. Но ему и в голову никогда не приходило сличить его руку со своей. Всего больше в этом простом и маленьком хранилище занимает профессора висящая на стене рамка, в которую вставлен четырехугольный лист ватманской белой бумаги с красивой надписью, сделанной самим Бальзаком:

Ici

Un

Rembrandt [10]

Эта наивная любовная надпись всегда умиляла профессора почти до слез, а потому он никогда не брал с собою в музей скептического и слишком земного Николая Евдокимовича.

Профессор долго и внимательно смотрит на свою бальзаковскую ладонь, слегка улыбается нежной старческой улыбкой и беззвучно говорит:

— Вот здесь, вот именно здесь, заблудилась ее крошечная, так мило жесткая и грязная ручонка. И как она потом нетерпеливо карабкалась, чтобы выбраться на свободу. Ну совсем точно маленький, вольный, подвижной зверенышек. О, чего же стоят все утехи, радости и наслаждения мира в сравнении с этим самым простым, самым чистым, божественным ощущением детского доверия.

Чтобы яснее вызвать образ маленькой чумазой Жанеты, профессор на минуту плотно зажмуривает глаза и вдруг слышит язвительное ворчание

---

[10] Примечания: 10
Здесь Рембрандт *(фр.)*.

Николая Евдокимовича, этого вечного брюзги, нестерпимого указчика и надоевшего близнеца:

— Ах, господин профессор, господин профессор. Сколько мы с вами за нашу долгую жизнь рассыпали фантастических глупостей по всем долготам и широтам земного шара. И вот, извольте: на почтенном закате дней своих вдруг взять и ошалеть от восторга при виде какой-то грязной, замурзанной шестилетней уличной девчонки, похожей на желторотого птенца. Вот уже третий день идет, как мы крутимся около газетного киоска и без толку покупаем утренние, дневные и вечерние журналы в надежде вновь увидеть, хоть мельком, измазанную детскую мордашку и поймать ее лукавую улыбку. И на свою правую ладонь мы не устаем смотреть с блаженным умилением буддийского святого, взирающего на свой пупок.

Ну да — все это мило, хорошо и трогательно, тем более что вы человек с душою абсолютно, химически, чистой. Но согласитесь, господин профессор, с тем, что наше буколическое увлечение, пожалуй, может показаться нелепым и смешным, если на него посмотреть со стороны зорким и скептическим взглядом.

— Ну и пусть кажется. Какая мне забота до

дураков и бездельников и до их свинского воображения? Мои годы, мои седины, моя безукоризненная жизнь — вот моя порука! Свиньей, вроде тебя, мрачной и гнусной свиньей, будет тот, кто усмотрит грязь в том, что меня чуть не до слез умилила эта забавная, чудесная, славная девчурочка. И все тут. Баста!

«Все тут, и баста, все тут, и баста», — шипят качающиеся, переплетающиеся ветви.

Николай Евдокимович сдается:

— Да ведь я что же, господин профессор? Я оскорбительного для вашей чести ничего не говорю. Я только хочу сказать, что у каждого народа есть свои нравы, обычаи, навыки, суеверия и приметы, которые куда как мощнее писаных и печатных законов. И вот тут-то иностранцу, да еще бездомному эмигранту, укрывшемуся от позора и смерти под дружеским, верным и сильным крылом, должно с этими неписаными адатами обращаться как можно осторожнее и деликатнее.

— Перестань, старая шарманка, — раздраженно восклицает профессор, и трепещущие листья повторяют за ним: «Старая, старая шарманка!» Но давнишний лабораторный служитель не сдается.

— Да вы же сами помните, господин профессор, как вы выразили перед хозяйкой киоска свой милый восторг перед ее очаровательной дочкой Жанетой. И как она в ответ на это зачертыхалась? В ее чертыхании вовсе не было зла против вас или Жанеты. Нет, здесь заговорила бессознательная, инстинктивная, многовековая память о борьбе со злыми ларвами в языческие времена и с мерзкими кознями дьявола в эпоху первого, грубого христианства. Эта почтенная женщина, видите ли, услышав вашу горячую похвалу ее дочке, бессознательно испугалась, — а вдруг у вас дурной глаз. А вдруг вы Жанету сглазите. А вдруг дьявол услышит вашу искреннюю похвалу милой девчурке и от злой ревности возьмет и испортит ее: сделает ее кривобокой, или наведет на ее лицо какую-нибудь гадкую сыпь, или скосит ей глаза. А что касается дурного глаза, то разве не вы сами, господин профессор, девять лет назад поместили в одном теософском английском журнале полунаучную, полумистическую статью под псевдонимом «Немо», в которой интересно и весьма обстоятельно доказывалось, что из множества эманаций, выделяемых человеческим организмом, едва ли не самыми мощными флюидами являются флюиды, излуча-

ющиеся из человеческого зрачка, столь близко расположенного к мозгу. Через глаза передаются гипнотические волны, и не зрение ли, соединившись с воображением, ткет глубокой ночью цветистые, многообразные сны? И наконец, вовсе не выдумка безответственных романистов (как вы сами говорили) способность человеческих глаз к удивительным световым эффектам. Да, действительно, глаза человека, в зависимости от душевных эмоций, могут сиять, блестеть, вспыхивать молнией, жечь, пронизывать, наводить ужас и повергать ниц. И эту чудесную силу их открыли еще бог знает в какой глубокой древности всё видевшие, всё замечавшие и запоминавшие народы, самые наименования которых стерлись из истории, но которые оставили после себя несокрушимые устные предания. Романисты только ограбили неведомых предков без пользы для себя, между тем как у спокойного простонародья старая мудрость и великий опыт сохранились в темных приметах и суевериях. Вот и спрашивается теперь, господин профессор: правы ли вы были, рассердившись на экспансивную мамашу вашей ненаглядной Жанеты?

Профессор ударяет железным наконечником палки по дорожке, и гравий визгливо хрустит.

— Замолчи, несчастный попугай, собиратель старой рухляди, умеющий только превращать в ходячую пошлость все, до чего коснется рука твоя.

Ветер становится все более тяжелым и упругим. Дышать трудно даже в обильном зеленью лесу. Огромные, старые, вековые деревья, когда-то видевшие под своею сенью Виктора Гюго, Альфреда Мюссе, Бальзака и обоих Дюма, недоверчиво и устало поскрипывают и недовольно кряхтят. Небо потемнело, и по нему быстрыми взмахами летят группы странно больших, черных, зловещих птиц. Во всей природе какое-то мрачное ожидание. Профессора томит приближающаяся буря. А тут еще этот неугомонный филистер, скучный хранитель буржуазной морали, этот вечный суфлер и наставник, двойник, с которым никогда не расстанешься и который всегда будет тащить свободную душу профессора по истоптанным путям спасительной боязни, благоразумного умалчивания, политичного воздержания, всегдашнего согласия с большинством, повторения ветхих, заплесневелых истин, казенных улыбок и лицемерных похвал высокостоящим болванам. И профессор взрывается, подобно брошенной на землю петарде:

— Никого я не хочу ни знать, ни слушать! Что дурного или предосудительного в том, что всем моим сердцем и всеми моими мыслями завладела маленькая милая девочка, живой и нежный французский ребенок. Господи! Ведь я никогда не испытал и не перечувствовал и даже не надеялся когда-нибудь почувствовать тихой бескорыстной радости, которою так мудро и так щедро одаряет судьба дедушек и бабушек, когда все земные, пряные радости отлетают от них. Ах! Я не был дедушкой, не успел... Да, впрочем, что греха таить. Могу ли я, по чистой совести, похвастаться, что был когда-нибудь счастливым мужем или почтенным, уважаемым отцом, авторитетным главою дома, его основанием, его управителем и защитником?

Нет, вся его семейная жизнь сложилась как-то неладно, кособоко, нелепо, разрозненно и неуютно. Женился он приват-доцентом на бледной и капризной дочери видного профессора, университетского декана и академика, который сделал себе огромное имя, и независимое положение, и комфортабельную жизнь путями не особенно, по тому времени, прямыми: всегдашней готовностью идти навстречу воле и желаниям правительства, отрицательным отношением

к студенческим массовкам, протестам и забастовкам, а также и суровой требовательностью на экзаменах. Он знал, конечно, что за глаза, в молодых радикальных профессорских кругах, его ядовито называли «кондитером» и «мыловаром». Но что ему было за дело до брехни неудачников, и бездарностей, и необразованных лентяев.

Он с привычным, нескрываемым удовольствием опускал в портмоне золотые, приятно тяжелые дарики, выдаваемые после каждого из торжественных заседаний Академии; со спокойным достоинством принимал казенные, весьма широко оплачиваемые научные поездки за границу и роскошные издания своих книг и без всякой тени заискивания расширял и поддерживал свои знакомства с питерской аристократией и с высочайшими особами. Студенты его ненавидели, но его лекции всегда наполняли аудиторию до самого верха, ибо он в совершенстве владел своим глубоким и гибким умом, был красноречив и обаятельно остроумен.

«Гениальная скотина», — назвал его однажды бесцеремонный и злой на язык великий циник граф Витте.

Брак Симонова с его младшей дочерью Лидией был чрезвычайно странен как по своей неожи-

данной быстроте, так и по полному отсутствию того томного ухаживания, которое составляет главную прелесть жениховского периода.

Поездка на Аптекарский остров профессорской компанией. Дурманящая белая ночь, легкое и веселое опьянение дешевым русским шампанским Абрау-Дюрсо, могучее дыхание полноводной Невы, смолистый ласковый запах березовых распускающихся почек, непринужденная игривость дружеского пикника. Играли в горелки. Лидия, со своим гибким и тонким станом, с матовым лицом и ярко-красными губами, летала, точно не касаясь ногами земли, похожая в загадочной полутьме на влюбленную колдунью. Никто не сумел бы понять, как это случилось. Догоняя Лидию, Симонов так разогнался, что чуть ее не опрокинул и для поддержания равновесия принужден был крепко обнять ее за талию и прижать к своей груди, так что почувствовал упругое прикосновение ее девических сосцов. И в этот же момент она поцеловала его в губы под защитою старого дерева.

Сначала молодой ученый был смущен и до румянца сконфужен ненасытной жадностью и чувственным бесстыдством этого пламенного и влажного поцелуя, но потом, со свойственным

ему великодушием и уважением к женщинам, быстро решил в уме, что это просто первоначальная неумелость, неопытность, непривычность наивной и невинной девочки, вдруг вздумавшей подражать взрослым или разыгрывать сценку из только что прочтенного романа. Но, во всяком случае, этот поцелуй, огнем пробежавший по всем нервам Симонова, требовал, по его джентльменскому мнению, серьезной ответственности. Поэтому, возвращаясь с пикника на Разъезжую, Симонов, набравшись храбрости, с бьющимся сердцем, сделал Лидии форменное предложение вступить с ним в брак. Немного покоробило его спокойствие, с которым она дала свое согласие. Симонов ожидал услышать старинную, традиционную, многовековую фразу: «Поговорите об этом с папой и с мамой». Нет, она сказала просто, с вежливой приветливой улыбкой: «Я согласна. Вы мне давно нравитесь. Я не могу от вас скрыть, что приданое за мною не так уж велико, как это можно было бы предполагать, судя по нашей жизни, которая со стороны кажется очень широкой. Конечно, мои родители охотно возьмут на себя все расходы по бракосочетанию и по поездке за границу. Они же с удовольствием озаботятся тем, чтобы приискать нам на первое время уютную

хорошенькую квартиру, с удобной мебелью и со всем хозяйственным обзаведением. Но я думаю, что больше пятидесяти тысяч папочка за мною не может дать. А это — немного по теперешнему времени, когда о шалаше и рае не вспоминают даже в шутку. Я свободно владею тремя иностранными языками: французским, немецким и английским, — и могла бы отлично переводить с них. Но вы сами знаете, как дешево оплачиваются переводы...»

Эта хладнокровная деловитость заставила Симонова на минуту съежиться, и он сказал с невольной неловкостью:

— У меня есть небольшое имение в Новгородской губернии. Если не ошибаюсь, сотни четыре десятин с небольшим. В Устюжинском уезде. Но еще больше я надеюсь на свой труд, потому что работать я люблю и умею, и никогда работы не боялся, и никогда от нее не отлынивал. Верьте мне, Лида: с вашей любовью и дружбой я вскоре займу положение, которым вы по справедливости будете гордиться. Вот вам моя рука в залог; пожмите ее крепко, как можете.

Бледное лицо девушки порозовело, когда она исполнила просьбу жениха. А потом она сказала:

— Если бы я не поверила вам, то неизбежно

должна была бы поверить папочкиному мнению о вас. Вы ведь знаете, как он скуп на комплименты и на лестные отзывы, особенно в научной сфере. О вас же он заочно говорит, как о будущем светиле науки, как об отце будущей, новой, великой школы. Это его собственные слова. А теперь, если вы не раздумали, пойдем к нему наверх и скажем о нашем решении соединиться законным браком. Только я вас об одном попрошу. Наука так и останется наукой, но в делах коммерческих и денежных обращайтесь всегда за советом к папе. Имя его известно во всем цивилизованном мире. Но мало кто знает, что папочка со своим ясным, светлым и острым умом является первоклассным дельцом и безошибочным разместителем крупных денег в такие места, откуда они вскоре возвращались обратно в удесятеренном виде. Папочке бы быть русским министром финансов! — сказала Лидия с гордой похвалой...

Таким образом женился Симонов на Лидии Кошельниковой. Брак этот вышел не по расчету, не по страстной любви, даже не по мгновенному случайному увлечению, от которого внезапно кружится голова, заволакиваются туманом глаза, а мысли и слова теряют смысл и значение.

Впоследствии Симонов много раз возвращался

памятью к этому странному времени женихов-ства и первоначального замужества и никогда не находил в них ни логики, ни оправдания, ни надобности: было холодное наваждение, была неуклюжая актерская игра в напыщенную влюбленность. Он слишком поздно разобрался в душе своей жены и нашел для нее типичное место, в котором, однако, не было ничего сложного, загадочного или необыкновенного. Просто: она была дочерью своей эпохи, когда молодые девушки либо мечтали о политике и курсах, либо напичкивались сверх силы Оскаром Уайльдом, Фридрихом Ницше, Вейнингером и половым бесстыдством. Лидия была из последних. Еще в институте для привилегированных девиц она ела толченый мел и пила уксус, для того чтобы тело не переставало держаться в воздушных, почти невесомых формах, а лицо под гримом постоянно носило томный отпечаток бессонных, безумно проведенных ночей, оставивших черные красноречивые круги под глазами.

В институте же, под наивной и невинной игрою в «обожание» старших подруг, она узнала первоначальные соблазны уродливой однополой любви, которой в то время предавались по распущенности и из-за снобизма юноши и де-

вушки всех благородных учебных заведений. В супружеских интимных отношениях она не проявляла здоровой чувственности, была лишь холодно-любопытна, и вскоре эти отношения между молодыми супругами стали постепенно все реже и неодухотвореннее. Однажды Лидия сказала мужу:

— Ты знаешь. В конце концов немцы были и умны и практичны, когда признавали за «цвей киндер систем» право гражданственности. Это и необходимо и достаточно.

Симонов, как всегда, ответил спокойным согласием и нисколько не удивился тому, что, родив вторую, и последнюю, девочку, Лидия совсем отказалась от супружеских обязанностей, предоставив вместо них мужу полную свободу, в которой он, впрочем, совсем не нуждался.

Однако обязанность доставать деньги осталась за ним и с каждым годом настоятельно увеличивалась. За детьми Лидия никогда не ходила. Не любила и не умела этого. Около девочек были всегда кормилицы, няньки и бонны. Сама же мать только наряжала их, как кукол, и играла с ними, как с куклами, в течение десяти минут в сутки. Переводы с иностранных языков оказались милым вздором заневестившейся барышни. Знала

она, правда, — и то с грехом пополам, — слов по сто на каждом из трех главных европейских языков, но для профессии переводчицы этот багаж был и скуден и легковесен. А главное, к занятию этому у Лидии не было ни призвания, ни терпения. Занимала ее больше всего легкая, суетливая, подвижная общественная благотворительность, устройство литературных и студенческих вечеров, лотереи, и базары, и прочие веселые пустяки с приглашением знаменитостей, с продажей шампанского и цветов и с постоянными предлогами заказывать новые модные костюмы.

Больше всего имела Лидия успех в только что народившихся, бесшабашных кружках новой литературы, поэзии и живописи, — у всей этой молодежи, носившей диковинные девизы кубистов, футуристов, акмеистов и даже ничевоков. Они в ней находили порочную прелесть верленовских изломов и манящую жуть сладострастия Пикассо. Впрочем, все эти божественно дерзкие переустраиватели мирового искусства никогда не задумывались над смыслом и значением тех умопомрачительных слов, которые они походя роняли, веско, гулко, бездонно-глубоко и абсолютно непонятно для непосвященных буржуев. Ничего! Им все благоговейно сходило с рук. Та-

кое уж сверхчеловеческое поветрие носилось тогда, незадолго до ужасной войны, по обеим столицам России, что гении, пророки, ясновидцы, тайновидцы, предсказатели, медиумы, мировые мудрецы, Наполеоны и Заратустры рождались среди интеллигенции с быстротою грибов после теплого летнего дождя. Уважающему себя культурному и передовому человеку приходилось разрываться на части, чтобы не пропустить случая сбегать на поклон к новому блистательному светилу, только что вчера открытому. Москва, древняя, кондовая, купеческая, усестая Москва, которая прежде созывала гостей на обед с юродивым Корейшей, с протодьяконом Шаховцовым, который голосом своим тушил все люстры в зале, с полицмейстером Огаревым, с Шаляпиным или с борцом Поддубным, — эта наивная, сердечная Москва вдруг, очнувшись, поняла, что ей совсем уж невозможно жить без своего декадента. Поэтому она спешно заказала для своих домов декадентскую архитектуру, завела чертовски декадентскую и безумно дорогую литературу, а московские дебелые девицы бредили во сне: тятенька с маменькой, купите мне в женихи настоящего декадентского кентавра.

И покупали.

Чинный Петербург всегда был спокойнее, умереннее и хладнокровнее пылкой Москвы, к которой он еще со времен Петра Первого привык относиться свысока. Однако яростный напор новых течений во всех отраслях искусства мощно захватил и солидный Петербург, ставший к тому времени внезапно Петроградом. Первыми провозвестниками и глашатаями этой трескучей новизны стали торопливые карьеристы, малограмотные приват-доценты, читавшие «взгляд и нечто» на многочисленных женских курсах и пописывавшие критические статейки в сотнях журналов, которые ежедневно возрождались под самыми драконистыми заглавиями, чтобы через два-три дня тихо и бесследно опочить.

Лидия, со всегдашней своей страстью к шумливым, безвкусным и дешевым безделушкам, одной из первых записалась в горячие поклонницы всех этих «истов», в их верного друга, в их деятельную помощницу и пропагандистку. Они же называли ее своей мамой, своей музой, своим икс-лучом и аккуратно, целыми стаями посещали по пятницам ее несколько скучноватый, но услужливый и гостеприимный салон, где подавались очень вкусные сандвичи и отличное кавказское красное вино «Мукузань».

Симонов вначале не без интереса и любопытства посещал декадентские вечера своей жены. Как-никак, а, по словам Лидии, на них созревало и выковывалось то новое, могучее и гордое искусство, которому надлежало, растоптав в прах все жалкие, скучные и нудные потуги предшественников, засиять над миром неугасаемой огненной звездою.

Однако вскоре он стал потихоньку думать: «Тут, по совести, одно из двух: либо я отстал от искусства и ничего не понимаю, либо все эти футуристы и кубисты — просто-напросто охальники, симулянты, мистификаторы, шарлатаны и развязные наглецы и похабники...» Правда, в некоторых поэзах этих вчерашних новаторов звучала порою странная и дикая сила; правда и то, что дерзкие консонансы, заменившие у декадентов лакированную точность строгих рифм, были ясны и понятны для Симонова, хорошо изучившего остроту крестьянских поговорок и частушек. Но отсутствие прямого смысла неприятно раздражало его, как раздражала и их манера читать свои произведения в нос, нараспев, на мотив «Чижика», похоронного ирмоса или бульварной песни, не останавливаясь перед похабными словами. Еще экстравагантнее были

футуристические музыканты и кубистические художники. Этих не понимали даже близкие сотоварищи. Впрочем, в этих сверхчеловеческих, орущих шайках быть непонятым почиталось первой ступенью к гениальности.

Эта здоровенная молодежь ела и пила с аппетитом волжских грузчиков, не переставая брала взаймы деньги и часто оставалась ночевать на диванах, на сдвинутых стульях и даже просто на полу. На это молодое разгильдяйство Симонов смотрел снисходительно и даже с молчаливым сочувствием. Профессорская жизнь еще не выжгла из его памяти студенческих годов в Московском университете, когда бесцеремонная молодежь охотно делилась и ночлегом, и обедом в столовке, и последней кружкой пива, и научными знаниями. Но один дурацкий случай вывел его из себя. Какой-то здоровенный, долговязый, весь в угрях декадент, в балахоне, наполовину желтом, наполовину голубом, с пучком укропа и с морковкой в петлице, только что окончил завывать свою новую поэзу, носившую претенциозное заглавие «Паванна», и стоял, окаменев от наплыва вдохновения, а вокруг него благоговейно безмолвствовали второстепенные поэты. Встретившись глазами с Симоновым, желто-го-

лубой верзила спросил в нос:

— Ну, что же, Амфитрион? Кого вы теперь назовете прекраснейшими из всех русских поэтов?

Смущенный Амфитрион невольно повел глазами по той стене, где у него ровной линией висели застекленные портреты всех знаменитых русских писателей и поэтов, и застенчиво пробормотал:

— Я думаю, что все-таки Пушкин...

— О, ослица Валаамова! — возопил прыщеватый декадент. — Весь ваш слащавый европеец Пушкин не стоит одного ногтя с моей ноги. — И вдруг, схвативши массивную чернильницу, декадент с быстрым размахом швырнул ее в лицо Пушкина, раздробив стекло и залив портрет чернилами. Симонов, весь побелев от негодования, схватил с необыкновенной силой поэта за шиворот и потащил к выходным дверям, беззвучно говоря дрожащими губами:

— Ах ты, сукин сын! Чтобы тут больше твоего духу не было! А то насмерть убью стервеца! Вон сию же секунду!

Претендент на высокое звание прекраснейшего из русских поэтов всех времен поспешно выскочил в переднюю, сбитый с толку и точно скомканный. За ним, с глухим ворчанием, по-

сыпались второстепенные поэты. Но «грубая, безобразная, дикарская выходка» Симонова не обошлась ему даром. Во-первых, Лидия после громадного истерического припадка, с рыданиями и обмороками, заставила-таки мужа на другой день поехать к желто-голубому поэту и просить у него прощения. Во-вторых, ему на веки вечные запрещено было присутствовать на декадентских радениях, хотя бы даже издали через щелку. А в-третьих, с того злополучного вечера совсем прекратились всякие человеческие отношения между мужем и женой. Здесь не было ни злости, ни мести, ни взаимного отвращения. Просто оба давно уже стали понимать и чувствовать, что нет и никогда не было между ними ничего общего, сближающего, душевного и что скоропостижный брак их можно было бы объяснить только холодным, бессонным наваждением северной белой ночи и мгновенным капризом анемичной, избалованной петербургской барышни.

В начале этого расхождения Симонов даже был рад этой домашней свободе. Легче работалось, легче думалось. А главное, в эти одинокие тихие дни Симонов наконец нашел подход и дорогу к умам и характерам своих двух дочек, которые до сих пор пребывали в глупом баловстве и в

капризном невежестве. Он с нежной и веселой радостью уже стал замечать, как входили в детские умы и сердца те избранные книги, которые он им читал: русские, умело подобранные сказки, сказки Андерсена, рассказы Марка Твена и чудесного Киплинга и Доде, «Хижина дяди Тома», приключения Жюля Верна, «Серебряные коньки», «Капитанская дочка» Пушкина и тому подобные вещи, легко и удобно входящие в ум и в воображение детей. Он при первой возможности водил девочек в Зоологический сад, в зверинцы, музеи и галереи. Каждый листик, каждые зверь и зверюшка, каждые жуки и мушки являлись для него и для детей предметами жадного внимания и удивительных рассказов. Эти два года мирного общения с маленькими дочерьми остались навсегда для Симонова самыми лучшими, теплыми и благородными воспоминаниями. Прежде бывало так, что, рассерженный безалаберностью жены и ее вечным мотанием по знакомым, и по лавкам, и по заседаниям, он молчаливо повторял про себя жестокое изречение из притчей Соломоновых: «Горе жена блудливая и необузданная. Ноги ея не живут в доме ея». Теперь же он все чаще ловил себя на унылой мысли брошенного человека, уже свыкшегося со своим одиночеством:

— А все-таки, куда как лучше и приятнее дома, когда в нем нету его почтенной и обворожительной хозяйки Лидии.

Но давно уже известно, что женщина, разлюбившая и злая, никогда не удовлетворится спокойным молчанием. Так и Лидия вскоре стала неутомимо пилить и заедать мужа, выбрав для этого самое уязвимое, самое чувствительное, самое больное место — деньги.

Настало время, когда в маленькой, когда-то мило уютной комнате на Песках с утра до вечера только и стало слышаться одно это желтое, ужасное, проклятое, ядовитое и такое всемогущее слово — деньги.

— Вы, как кажется, позабыли о деньгах? Где же деньги? Вы, по-видимому, все мечтаете о рае в шалаше, а не о деньгах? Вы, кажется, совсем забыли, что у нас завтра — гости и, чтобы принять их, надобны деньги? Оленьке нужны деньги на башмачки, Юленьке нужны деньги на шубку. Кухарке нужны деньги на базар, мне нужны деньги на замшевые перчатки и на билет на Вагнера. — Деньги, денег, о деньгах, деньгам, деньгами, деньгам, деньгами... Вкус ржавого железа появлялся во рту Симонова, когда звучали эти металлические слова, требующие денег. Вско-

ре и дочери, сначала как невинные попугайчики, а потом все сознательнее и настойчивее, научились этой минорной песне о вечных деньгах.

— Папочка! Почему ты нам купил аграфы сердоликовые, когда теперь все носят жемчужные? — Папочка! Почему ты купил места в партере, а не в бельэтаже? — Папочка! Почему у нас елка была с парафиновыми свечами, а у X электрическая? Почему у Z свой собственный выезд, а мы должны трястись на извозчике-ваньке? — Папочка! Почему мамочка всегда плачет, что ты жадный и скупой и никогда не хочешь давать ей деньги и что ты, кроме того, страшный лентяй и не хочешь работать?

«Какая пакость со стороны тех матерей, которые ложью восстанавливают детей против отцов, — думал часто Симонов и тотчас же поправлял самого себя: — А еще хуже длительная, текущая годами семейная злобная вражда, в которой обе стороны считают себя великомучениками и только тем занимаются, что отыскивают против врага укус поядовитее».

Симонов, со свойственным ему мягким великодушием, рыцарски самоотверженно причислял себя к одной из враждующих сторон. Носить в себе вечную неугасимую злобу казалось ему

тяжким и горчайшим бременем, и он как бы навьючивал на себя молчаливо половину общего проклятого груза. Нет, никогда он не был лентяем или скупцом. Как однажды, в далекую белую ночь, дал он Лидии торжественное обещание работать не покладая рук для счастия своего гнезда, так и держал это слово с непоколебимой энергией, с радостным сознанием исполняемого священного долга. Он успевал читать лекции в петербургских сельскохозяйственном и лесном институтах и на женских курсах, преподавал физику, химию, космографию и естественную историю в кадетских корпусах, в военных училищах, женских институтах. Одно время он руководил геодезическими триангуляционными съемками в Академии генерального штаба. Он написал много статей, как строго научных, так и популярных. Журналы принимали их охотно, редакторы рассыпались в похвалах и комплиментах... Однако гонорары повсюду были мизерные. И все-таки жить было можно, и даже жить с небольшим комфортом, несмотря на то, что тесть слукавил на приданом. Беда была в том, что Лидия никогда не знала цены деньгам, и они сыпались у нее сквозь пальцы, а Симонов во всю свою жизнь так и не научился ладить с

нужными людьми, обходя их услужничеством, лестью и подобострастием: бывал, когда не надо, горд, независим, противоречив, самостоятелен и неуступчив. А эти свойства люди сильные не всегда любят.

Когда пришла Симонову пора защищать свою докторскую диссертацию, то профессор Кошельников однажды любезно спросил его, как бы мимоходом:

— Что ты скажешь, милый зятек, если узнаешь, что университетский совет назначит меня быть твоим оппонентом на диссертации?

По профессорской этике такой любезный вопрос всегда имеет и огромный вес, и серьезнейшее значение. В нем как будто бы уже заранее признаются и талант и заслуги молодого диссертанта, и не чем иным, как благодарной улыбкой, на него нельзя было бы ответить. Но Симонов как-то сухо, по-медвежьи коряво возразил:

— Я бы, конечно, был весьма обрадован и польщен, господин профессор, но... но согласитесь с тем, что мы с вами все-таки в свойстве... и бог знает что могут наговорить недоброжелательные языки... Кумовство, непотизм, протекции... и так далее. Обоим нам будет неловко.

Тесть поднялся с кресла и желчно сказал:

— Дело ваше. Как знаете, как знаете... — и, надевая шляпу в передней, еще раз прибавил: — Как знаете.

Кончилось тем, что диссертацию свою Симонов сдал в Москве, и сдал самым блестящим образом. Когда он приехал назад в Петербург, тесть не дал себе труда поздравить его.

Кошельников был не злопамятен; к тому же он очень любил свою анемичную дочку. Поэтому спустя некоторое время он сделал зятю у себя на дому великолепное предложение в духе той финансовой мудрости, которой когда-то так восхищалась Лидия. Дело заключалось в том, что несколько влиятельных и высокостоящих чинов генерального штаба предпринимали в военных целях гигантскую работу по осушению Полесья. В настоящее время начинают разыскивать и подбирают опытных инженеров, гидротехников, землемеров, лесников, геодезистов. Проектируется работа на многие десятки миллионов. Дело большое и верное, и на нем можно честным путем сделать хорошее, солидное состояние, опору будущему счастью. У Николая Евдокимовича остались добрые знакомства с генеральным штабом, тесть поможет своими влияниями. Надо только ковать железо, пока оно горячо.

Симонов попросил две недели отсрочки для размышлений. Аккуратно в назначенный срок он пришел к тестю и попросил у него сепаратного разговора. С первых же слов он решительно отказался от работы на Полесье, а когда профессор Кошельников спросил о причинах такого крутого отказа, зять нарисовал картину мрачную, зловещую и устрашающую.

— Во-первых, — сказал он, — осушение Полесья стоит не миллионы, а миллиарды. Во-вторых, осушение Полесья, кроме дороговизны, повлечет за собою непременно обмеление всех водных источников, речонок и рек, как малых, так и средних и больших. Это же со своей стороны грозит оскудением сельских хозяйств на громадных пространствах, остановкой водяных мельниц, прекращением путей сообщения и в особенности пароходному движению по рекам, питаемым водами Полесья. Подумайте: Днепр и теперь уже нуждается в землечерпалках, что же будет дальше, когда он высохнет. В-третьих, кто инициатор и глава этого осушительного предприятия? Полковник генерального штаба Ж. Он поляк, действительно — Ж. С идеей осушения он возится давно уже, связывая эту идею с возможностью оборонительной войны. Умный теоретик

военного искусства Михаил Драгомиров сказал однажды по этому поводу: «Умный, храбрый вождь пройдет шутя через топь. Трусливый дурак разобьет голову на ровном месте».

Однако полковник Ж. теперь снова вылез наверх... И наконец — четвертое: мне удалось узнать фамилии будущих предполагаемых подрядчиков. Все это — народ жох, тертые калачи, а главное, жестокие специалисты по лесному делу.

— И что же?

— Да то, что вся суть осушения сводится к неслыханной по размерам вырубке Полесья и распродаже леса в дьявольских размерах. Военные интересы — одна только вывеска.

— Однако, — возразил тесть, — ведь там в числе пайщиков есть и высочайшие персоны.

— Тем более, — угрюмо буркнул Симонов, — мне в эту компанию не ход.

— Глупая щепетильность, — пожал плечами Кошельников, и собеседники, не говоря больше ни слова, сухо и надолго простились.

На другой день Лидия пришла к нему в кабинет и без обычной ссоры, вялым, деловым голосом предложила ему развестись с ней. Он ничего у нее не расспрашивал, сразу же согласился. По ее же просьбе он согласился и взять вину развода

на себя, как на мужа, осквернившего супружеское ложе. Много этому невинному, доброму и покладистому человеку пришлось выслушать консисторских пакостей, пока развод не был зарегистрирован в порядке.

Одно условие развода огорчало и удручало Симонова: обе его дочери, по утверждению Святейшего синода, должны были остаться при матери, на которую возлагалось их духовное и моральное воспитание в началах и указаниях Святой православной кафолической церкви. «Хорошими началами она их напичкает», — сурово ворчал про себя Симонов; и, предвидя неизбежные в разводе сцены ревности из-за детей, возрастающую на этой почве неутолимую ненависть и тяжелое влияние на девочек родительской вражды, он с глухим горем оставил навсегда Петербург, чтобы занять профессуру в родной, знакомой и давно любимой Москве.

Так-то порвались навеки для него все сношения с бывшей семьей и даже самая память о ней. Но любовь ко всем детям, умиление над их беспомощностью, радость слышать их голоса и видеть их улыбки, созерцать их игры и их первые попытки к общежитию постоянно наполняли его душу целительным бальзамом. Он не ради щегольской

фразы, но от глубины чистого и любящего сердца произнес свой афоризм на большом московском собрании матерей:

— Тот, кто написал хорошую книгу для детей или изобрел детские штанишки, не связывающие движений и приятные в носке, — тот гораздо более достоин благодарного бессмертия, чем все изобретатели машин и завоеватели стран.

А удушливый, горячий ветер сирокко не только не хочет уняться, но все больше и больше набирает силу, злобу и упругость. Профессор давно уже устал вести бесполезную ссору со своим тупым и мещански настроенным двойником Николаем Евдокимовичем. Приближающаяся и все не решающаяся разразиться гроза точно приплюскивает его к земле и лишает воздуха. «Что же я так сижу и изнываю?» — думает он. Ведь даже гимназистам первого класса известно, что ничего нет опаснее, чем стоять в грозу под деревом.

— Пойду-ка к себе домой. У меня над моей голубятней проведен громоотвод. Молодцы французы в этом отношении. Впрочем, и во всем они молодцы, что касается стихийных бунтов и восстаний.

Он подымается, с трудом выпрямляя члены, затекшие от долгого сидения. Бесчисленные мурашки бегут под его кожей.

«Точно электрический ток, — думает профессор. — А почему бы и в самом деле этому ощущению не быть электрическим явлением?» — и в этот момент Симонов тяжело падает на землю, оглушенный и ослепленный яростными, одновременными молнией и громом. Страшный ураган срывается, как взбесившаяся лошадь. Небо, воздух и земля заволакиваются густым зловещим мраком. Ревут деревья, трещат ломающиеся ветви, с чертовским грохотом и жалобным стоном падает столетний могучий каштан, выворачивая из земли свое огромное корневище, зарытое в землю. Деревья раскачиваются, нагибаясь до земли. Молния и гром не перестают ни на минуту. Водяные хляби разверзлись точно при потопе. Ничего не видно, кроме тяжелой, сплошной воды, закрывшей весь горизонт.

Симонов, весь промокший и потерявший дорогу, с великим трудом пробирается между деревьями, инстинктом находя дорожки и вновь теряя их. Маленькая, нежная ручонка вдруг касается его пальцев, и дрожащий, испуганный голосок говорит снизу:

— О господин. Я боюсь. Помогите мне. Я очень боюсь. Я не знаю, куда мне надо идти.

— Ах! Боже мой! Ведь это Жанета, — с радостью

и с ужасом узнает профессор. — Как ты попала сюда, под мой непромокаемый плащ? Вот так, вот так, моя дорогая девочка, вот так. И теперь перестань тревожиться. Будь спокойна, я тебя сейчас донесу до вашего киоска. — И, ловко окутав Жанету своим пальмерстоном, он храбро шлепает по лужам.

Время от времени тоненький, жалобный голосишко попискивает из узла:

— О, как я боюсь, как боюсь, мой добрый господин! — И умиленный Симонов ласково и успокоительно похлопывает ладонью по разбухшей разлетайке. Так они выходят из Булонского леса, проходят по бульвару Босежур, и там, под перекидным мостом, профессор сдает свой мокрый груз в газетный киоск, наполняя его водой и крикливым изумлением хозяйки, которая уже успела до смерти измучиться, разыскивая свою быстроногую Жанету в эти страшные часы бури, молнии и зловещего мрака. Она, с той быстротой и приятной ловкостью, какие свойственны всем любящим матерям на свете, освобождая девочку от бесконечной профессорской обмотки, вытирала быстрыми движениями ее промокшее тельце, сморкала ей нос и в то же время не забывала шлепать ее по задушке и скороговоркою то

браниться, то в сотый раз пересказывать Жанете, профессору и всем ближайшим соседям о тех ужасах, которые она сегодня претерпела.

— О дорогой господин, — обращалась она к Симонову. — Надеюсь, что вы извините меня за то, что я сначала подумала, будто это вы завели Жанету в Булонский лес, и вот я прибежала к вашей госпоже консьержке и осведомилась у нее о вас. И я была очень рада, когда услышала самые почтенные и добрые рекомендации о вас с ее стороны. Но вы, конечно, поймете душевную тревогу бедной матери. Надеюсь, что у вас самого были сестры, дочери или внучки?

Но тут сама Жанета, решительно высвободив головку из кучи тряпья, великодушно идет профессору на помощь и защиту.

— О моя дорогая мама, — говорит она с восторгом и ужасом. — Если бы ты видела, какой это был ужас. Я пошла в Булонский лес с Жермен, с дочерью мясника, господина Колэн, и мы разошлись там, когда настала гроза. О, мой бог, как это было страшно и как я испугалась. Ветер был такой, что сломились все деревья и разрушились многие большие дома. Молнии летали по всем направлениям, толстые, как моя рука, и большие, как Эйфелева башня. А гром был такой громкий,

как фейерверки на четырнадцатое июля или как пальба из пушек, и дождь был ужасно большой, ну вот совсем как потоп, о котором нам читал господин аббат и который потопил весь мир. Я так испугалась, так испугалась, что думала, что сейчас же вот-вот умру. И подумай, мама, какое это было счастье, что добрый и храбрый господин пришел мне на помощь в бурю, грозу и молнию и точно святой ангел покрыл меня своим манто, чтобы вынести меня из настоящего ада. О мама, этот отважный жантильом[11] был моим спасителем, которого мы должны благодарить во всю нашу жизнь.

Эта импровизированная болтовня умилила и рассмешила профессора до слез, а мать вставила уже спокойным голосом:

— Этим декламациям Жанету научила ее лучшая подруга Жермен, которая старше ее и, к сожалению, чрезвычайно много читает.

Профессор сказал:

— Конечно, это маленькое приключение — просто пустяки, и все обошлось благополучно. Позвольте, мадам, я в один момент схожу в бистро к мадам Бюссак за липовым цветом, он у

---

[11] Примечания: 11
Дворянин (от *фр.* gentilhomme).

нее превосходного качества. Ведь ваша бедная девочка все-таки сильно промочила ноги.

— О нет, мой господин. Я вас, пожалуйста, прошу не беспокоиться. Липовый цвет есть у меня на квартире, а я вам приношу миллионы благодарностей и, в свою очередь, прошу вас заняться своим здоровьем. Эти летние простуды гораздо опаснее зимних.

«Экая твердая баба! — покачал головой Симонов, уходя из киоска. — И все-таки прекрасная любящая мать».

Пройдя шагов пять, он обернулся назад. В киоске, из-за каких-то платков и тряпок, глядел на него веселый, ласковый, улыбающийся глазок Жанеты.

И вот вскоре настал для профессора Симонова моральный скучный ущерб. Прежде хоть изредка удавалось ему на минутку-две увидеть живое, веселое личико Жанеты под разными приличными предлогами: то покупая газету, то просто проходя мимо киоска с нарочно сделанным серьезным, деловым лицом. Теперь он стал стыдиться своих прежних невинных хитростей и бояться, что Жанетина мать подумает, будто русский старый чудак, особенно после грозы в Булонском лесу, захочет втереться в чужую се-

мью. И он стал наблюдать за милой девочкой с осторожной украдкой, на далеком расстоянии, стараясь не попадаться на глаза ни матери, ни дочке, благодаря Бога за свою лесную привычную дальнозоркость.

Весело, пестро, разнообразно, затейливо проводит Жанета свои дни, радостно насыщенные все новыми и новыми впечатлениями. Ноги ее не успевают бегать, легкие — дышать, глаза — все жадно видеть, уши — все слышать, ум — все воспринимать. Будь Жанета совсем свободной — для нее мало было бы всего Шестнадцатого округа, всего Парижа с окрестностями, всей необозримо большой Франции. Но, к ее досаде, строгий надзор матери и острая наблюдательность услужливых соседок замкнули ее свободу в тесное пространство, ограниченное квадратом, образуемым четырьмя улицами: улицей Ранеляг, авеню Мозар, улицей Ассомпсьон и бульваром Босежур.

Профессор уже давно это заметил и сам для себя в уме называет Жанету принцессой четырех улиц.

Правда, эта быстроногая принцесса в неудержном беге врывается и в другие близлежащие улицы: в бульвар Монморанси и в улицу Доктора Бланш. Но это только резвые наскоки принцессы-

амазонки, жаждущей невинных приключений.

Самый суровый запрет положен на Булонский лес, да и сама храбрая Жанета трепещет перед его ужасами и до сих пор не может понять, какие силы занесли ее в густой парк во время бури сирокко. Там, по уверениям старинных обитательниц Пасси, прячутся в густых деревьях злые мошенники, которые нападают на гуляющих и, бросая их в автомобили, увозят бог знает куда, чтобы взять потом за них большой выкуп; там появляются беспощадные люди-сатиры, не жалеющие ни женщин, ни детей; там бродят часто кровожадные дикие звери, убегающие из соседнего зоологического сада, и, наконец, там ходят по вечерам белые привидения, духи людей, погибших давным-давно на дуэлях в Булонском лесу и лишенных церковного покаяния.

Но на всем протяжении своего маленького суверенного владения Жанета является настоящей, всеми признанной принцессой: принцессой доброй, приветливой, заботливой и любимой. Ее подданные души в ней не чают. Когда она весело, легкими быстрыми шажками проходит по улицам своего государства, то с обеих сторон слышатся ласковые приветствия:

— Добрый день, Жанета! Добрый день, малень-

кая Жанета!

Так встречают ее все: почтальоны, несущиеся с толстыми кожаными сумками, взрослые девушки, развозящие по домам в ручных тележках молоко и булки, девочки, спешащие говорливыми группами в школу, рабочие, только что принявшие в бистро очередную порцию аперитива или дижестива, чиновники и посыльные, старающиеся сохранить на лицах выражение деловой серьезности, между тем как свет нежной улыбки освещает их уста, пожилые женщины, идущие спешным ритмическим шагом на базар.

— Добрый день, Жанет! Добрый день, Жанет!

И Жанета разбрасывает налево и направо свои звонкие приветствия вместе с ландышами и маргаритками своих сияющих улыбок:

— Добрый день, господин Топэн! Добрый день, госпожа Тиру. Добрый день, Ирэн, Симон, Мадлэн...

И как мило заботлива она к работе и к интересам своего народа. Вот идет по тротуару молодой, весь в лохмотьях, савояр, дудя гнусаво в допотопную деревянную свирель. Рядом с ним, на мостовой, тесно сплотившись, движется густое, лохматое стадо коз. Савояр только и знает, что наигрывает тысячелетнюю печальную мело-

дию, а за порядком стада ревностно, строго и неутомимо следит умный, черный, большой пес, не устающий бегать вокруг бредущей отары, загоняя каждую отстающую, проказливую или упрямо-игривую козу в общее тесное, блеющее стадо. Он достигает этого лаем, ударом головою, иногда осторожным укусом, а всего больше огненным взглядом своих человеческих глаз. Прохожие, знающие злобный и решительный характер савойских овчарок, обходят их подальше, но для Жанеты не существует ни страха, ни боязни за свое тело, и руки ее никогда еще не знали трусливой дрожи. Поэтому она с беспечной старательностью помогает черному барраку загонять коз, и мохнатая, с ног до головы обросшая шерстью собака порою возьмет и лизнет Жанету длинным, красным, горячим языком, стараясь пройтись по всему лицу.

И меланхоличный савояр, не останавливая стада и оставляя его на попечение пса, останавливает одну лишь из коз, с ловкостью фокусника доит ее грушевидное вымя в небольшой стаканчик и молчаливо протягивает его Жанете. Теплое козье молоко не особенно вкусно; к тому же оно так сильно отдает терпким запахом неистового козла, что пьют его только больные и редкие

любители. Но как же обидеть савояра и его прекрасного пса? Молоко мужественно проглочено одним мгновением.

— Благодарю, до свиданья, мой дорогой пес. До приятного свиданья.

Проходит, мелодично позванивая большим звонком, древний, но крепкий, как дуб, точильщик ножей, бритв и всякого кухонного металла. Его передвижная мастерская весьма тяжела. Везут ее на колесах вдвоем: хозяин-мастер и его трудолюбивая собака-волк. Часто Жанета с умилением удивлялась той добросовестности, с какой эта рыжая, гладкошерстая собака несла свою обязанность. Она напрягала все свои силы, налегая на постромки, и как бы распластывалась по земле, стараясь облегчить груз своему божеству, хозяину.

— Добрый день, господин Перье!

— Добрый день, моя малютка!

Он останавливался и опять звонил, ощупывая глазами этажи и дома, из которых могли бы дать работу. Рыжий собака-волк в это время укладывался калачом на земле под точильным прибором. Там же оставался он и в то время, когда господин Перье визжал, верещал и яростно жужжал своими орудиями. Не подымался он и

тогда, когда хозяин заходил освежиться от трудов праведных в кабачок «Au pelouse» (лужайка). Может быть, ему не нравилось, что в этом кабачке на улице Доктора Бланш обитало множество чуть-чуть синеватых сеттеров, порода которых так и зовется «голубые оверньские», а может быть, он вообще пренебрегал всяким обществом на свете. Он был молчалив, необщителен, всегда скучен. Гладить себя он никому не позволял, а хозяин, кажется, ни разу в жизни его не погладил. Жанета, конечно, могла это делать, но что же приятного гладить собаку, которая на это не обращает никакого внимания.

Странен был сумрачный характер этой собаки. (Не лежало ли на ее душе какое-нибудь тяжкое преступление?) Тем более что господин Перье был всегда весел и общителен. Жанета очень любила издали слушать, как он пел в своем любимом кабачке старые-престарые, веселые песни, с трудом понимаемые нынешними французами. Немножко странным казалось Жанете, что господин Перье некоторые слова песен заменял мычанием и многозначительным покряхтыванием.

Все были добрыми приятелями Жанеты: и необыкновенный крикун, покупавший тряпки-железо, а также торговавший разными костю-

мами; и садовники из роскошного цветоводства, принадлежавшего какой-то таинственной, никем никогда не виданной миллионерше, и девушки из лаборатории, и страстные игроки в конский тотализатор, которые, покупая спортивные газеты, просили Жанету назвать им на счастье какую-нибудь цифру, и нищие, которым она никогда не скупилась подать монету в два су, если она находилась в кармане передника, и так далее. Но были у нее еще дружки, особенно ценные, интересные, занятные и любимые. Появлялся, например, раза три в месяц в пределах Жанетиного властвования старый, бодрый шарманщик. У него не было левой руки и правой ноги, которые он потерял на войне, но зато была хорошо налаженная, солидная клиентура из истинных знатоков и тонких любителей благородной шарманочной музыки или, как ее вернее называют, — органной. Через каждые десять дней регулярно он приходил под окно очередного меломана, укреплял каким-то непонятным способом при помощи костылей свою шарманку и давал на ней превосходный концерт, начинавшийся всегда с итальянской канцонетты

«O sola mia»[12], военной французской песенкой «Madelon» или «Марсельезой». Надо сказать, что избранная (по его мнению) публика любила его. Во время концерта и после его окончания разные монеты, завернутые в бумажки, так и летели изо всех этажей, брякая об уличные тротуары и о мостовые.

Но, кроме изысканной музыки, однорукий и одноногий шарманщик приспособил к крышке своего органа небольшую шкатулочку, из которой уличная публика могла за пять сантимов вытаскивать свернутые в голубые, зеленые и красные трубочки предсказания судьбы, разрешения любовных и коммерческих дел, астрологическое значение планеты каждого человека и прочие премудрости. Однако музыканту, очевидно, было по его инвалидности и больно и неудобно заниматься одновременно несколькими делами: вертеть ручку шарманки, следить за любителями предсказательной лотереи и подбирать с земли завернутые монеты, шкандыбая, тяжело нагибаясь и еще еле успевая посылать добрым клиентам летучие поклоны во все этажи, от рэ-де-шоссе до мансарды восьмого этажа, в котором гнездились

---

[12] Примечания: 12
«О моя единственная» *(ит.).*

горничные, кухарки, швейки и прочая беднота, всегда щедрая на расплату за маленькое удовольствие. Однако шарманщик терпеть не мог, когда кто-нибудь из собравшейся вокруг него публики проявлял желание помочь ему. В этих случаях он стучал костылем и с недовольной торопливостью говорил:

— Нет, нет, благодарю, благодарю, я сам, я сам. Благодарю!

Но удивительно — когда Жанета впервые нагнулась со своей легкой гибкостью и изящно, двумя пальчиками, поднесла ему скомканную бумажку с двумя толстыми «гро су»[13], шарманщик нежно похлопал ее по плечу и, улыбаясь, сказал:

— О, мерси, гранд мерси, моя крошка. Как вы очаровательны!

И правда, в этой смуглой, грязноватой девочке, с черными живыми глазами, было очень много того, что французы называют шармом и что в Жанете ласково пленяло людей, собак, лошадей и кошек.

В следующий свой визит на Пасси, в герцогство принцессы Жанеты, шарманщик уже разыскивал озабоченно глазами, где его недавняя помощ-

---

[13] Примечания: 13
Монетами в десять сантимов (от *фр.* gros sou).

ница, и, отыскав, с улыбкой поманил ее к себе, а когда она подошла, вся сияя от радости, он вытащил из отворота пальто слегка помятую, но все еще благоуханную розу и галантно поднес ее девочке. С этих пор Жанета, как только услышит издали гнусавые, тягучие звуки шарманки, — стрелой летит к своему импресарио и добросовестно работает, избегая лишь переступать через запретные зоны. И неизменно она получает от музыканта розу, гвоздику или другой сезонный цветок. Эти подарки — ее гордость. Они заработаны чистым артистическим трудом.

Другой увечный человек — самый любимый друг Жанеты, предмет ее жалости и особой заботы, — это слепец. Он — кроткий пожилой мужчина, с бледным лицом и мягким голосом прекрасного печального тембра. Ему каждый день утром надо зачем-то переходить через улицу Ранеляг, которая в этот год загромождена новыми строениями, полными мусора, кирпича и досок, что делает непостоянную дорогу трудной и опасной для незрячего. Жанета помогает ему много дней, недель и месяцев. Каждый день, кроме праздников, в семь часов утра дожидается Жанета на перекрестке авеню Мозар и улицы Ранеляг появления своего тихого и милого друга.

Он показывается ровно в семь, минута в минуту, секунда в секунду. В руке у него белая палочка. Он не видит, но движениями головы как бы хочет учуять то место, где находится девочка, и она тотчас же подает звонко свой тоненький голосок:

— Здравствуйте, господин Гастон.

Его проваленные глаза черно-мертвы. Но на губах его разливается теплая, всегда грустная улыбка.

— Здравствуй, душа моя. Что видела во сне?

Но Жанета так еще молода, что снов не видит, а если и видит, то мгновенно же их забывает.

— Ничего, господин Гастон.

— И слава богу, — утешительно произносит слепой.

Они берутся за руки и идут. Слепой уже привык ощупывать почву своей палкой, но иногда Жанета, слегка пожимая его руку, предупреждает:

— Направо кирпич! Налево ямка!

Иногда они садятся на уличную скамейку и разговаривают. Слепой вдруг спрашивает:

— У нас сегодня понедельник?

— Кажется, господин Гастон.

— А как ты думаешь, Жанета, какого цвета понедельник?

— Темно-зеленого, — отвечает девочка.

— И мне кажется так же. А вот — слышишь? — солдаты в трубы трубят. Теперь какой цвет?

— Красный, — не задумавшись, отвечает Жанета.

— А я думаю, что красный с желтым оттенком. Не правда ли?

— Да, правда, господин Гастон, с желтым.

Они замолкают. Через несколько минут господин Гастон тихо говорит:

— Ну да. Я ослеп. Ничего не вижу. Но ведь судьба оставила мне великодушно слух, осязание, обоняние, вкус и разум. А я мог бы лишиться всего этого и лежать бы теперь в вечном бессознательном мраке. Разве я не счастлив, милая Жанета?

— Я вас люблю, господин Гастон, — шепчет девочка и ласковой рукой нежно проводит по его лицу. А потом они рука об руку идут до бульвара Босежур, где расстаются.

Профессор Симонов не раз видел эти тихие, меланхолические свидания. Нет! Его светлая душа не знает ревности, особенно к такому человеку, как господин Гастон, столь жестоко наказанному судьбою. Он только иногда смутно думает о том, что если бы он сам был слепцом, то величайшим утешением в этом несчастии была бы для него дружба с Жанетой. И вот он однажды решается

на невинную, смешную мальчишескую уловку. Водиться с русским профессором строго-настрого запрещено, но, встречаясь с ним случайно на улице, Жанета никогда не упустит возможности поздороваться с ним улыбкой или кивком головы. Иногда даже перебегает через улицу на другую сторону, причем у нее несносная манера лезть под каждый трамвай и камион[14], что приводит Симонова в холодный ужас. И вот как-то раз утром, вывернувшись чудом из-под огромной, ревущей и пыхтящей машины, Жанета застает старого друга совсем расслабленным, хилым, разбитым, измученным.

— О господин профессор, что с вами? Вы, кажется, очень больны? — говорит жалобно Жанета. — Чем я могу вам помочь?

— Ах, дорогая Жанета, — кряхтит и стонет Симонов. — У меня большое горе. Я ослеп! Не будешь ли ты так добра провести меня до дома? Я живу близко отсюда, бульвар Монморанси.

— О, с удовольствием, господин профессор. Не угодно ли вам будет опереться на мою руку?

Они идут. Проходят шагов с пятьдесят. Походка профессора становится все спотыкливее и неуве-

---

[14] Примечания: 14
Грузовик (от *фр.* camion).

реннее, и, не доходя до квартиры профессора шагов на тридцать, Жанета вдруг разражается веселым, громким хохотом, звенящим, как золотой дождь по серебряному блюду.

— Ах, шутник! обманщик! — заливается Жанета. — Разве меня можно одурачить! Ваши руки слишком жестки для слепого, и разве я не вижу, как дрожат ваши ресницы, когда вы через них поглядываете на меня? И шаг ваш гораздо тверже, чем у слепца. Ну, алор, марш домой, господин слепой! И пожалуйста, не делайте над собой таких фокусов, а то и навсегда останетесь слепым. На небе таких шуток не любят.

Симонов уходит посрамленным и сконфуженным. Но в дорогу Жанета посылает ему ласковое утешение:

— Вы не думайте. Я люблю господина Гастона, но люблю и вас. Гастон хороший, и вы тоже хороший, всякий по-своему. Подождите, я когда-нибудь вас познакомлю, и вы станете друзьями.

Много странностей с течением времени замечает профессор за Жанетой. Так он открывает, что эта милая девочка совсем чужда брезгливости.

Однажды, ранним утром, спустившись со своего высоченного чердака вниз, на уличный асфальт, профессор увидел обычное зрелище,

которое он привык созерцать каждый день. У выхода из дома, как всегда, стоял высокий, вместительный автомобиль около заранее выставленных консьержками цинковых кубов со всяким накопившимся за сутки домашним мусором. Трое бойких овернцев ловко подхватывали эти кубы и опоражнивали их в автомобиль. И вдруг Симонов услышал громкий веселый голос оверньята:

— Эй, Жанета! Держи.

Тут только увидел профессор маленькую фигурку девочки, до сих пор заслоненную боком машины. Жанета искусно поймала на лету небольшой серый предмет, брошенный для нее. Это был уже сильно поношенный плюшевый медвежонок с наивной, удивленной мордочкой.

— Благодарю, господин Антуан! — крикнула радостно Жанета.

А Симонов подумал: «Так вот откуда у нее в детской колясочке такая богатая коллекция старых, потрепанных игрушек. Из ордюров, а по-русски говоря — из помоек. Черт возьми, ведь эти чаны самое удобное гнездилище всевозможных бацилл и бактерий. Здесь захватить опасную инфекционную болезнь — одна секунда. Почему мать Жанеты такая росомаха? О чем думает город-

ская полиция? Чем занят санитарный надзор?» Обратиться к Жанетиной матери с предупреждениями и увещаниями профессор не отваживался, давно узнавши ее деспотичную властность и крутую самостоятельность по отношению к дочери. Смешно и нелепо было бы также рекомендовать людям, занятым чистотою и здоровьем громадного города, чтобы они следили за гигиеническим поведением и за чистоплотностью каждой бойкой и резвой парижской девочки семи лет. Это — дело матерей и школы. Но изобретательный ум профессора выдумал уловку — безвредную для Жанеты и приятную для него самого.

Один из мусорщиков, господин Антуан, похожий наружностью на грузина, а характером на русского ярославца, был с ним в дружбе. Они посещали одно и то же бистро госпожи Бюссак и уже много раз успели сыграть в беллот и угощали один другого очередными турами красного вина. У Симонова с давних пор был дар ладить с простыми рабочими людьми. Однажды, допивая свой стакан розового вина, профессор сказал:

— А кстати, господин Антуан, у меня к вам маленькая просьба.

— К вашим услугам, мосье.

— Видите ли... Маленькая Жанета — очарова-

тельная девочка... прелестная, но ее почтенная мамаша ужасно строга к ней. Никогда не сделает ей какого-нибудь детского удовольствия и ни за что не позволяет подарить девочке хотя бы самую невинную, самую пустячную безделушку.

— О господин, — возражает серьезным тоном Антуан. — Мы, французы, мы очень любим наших детей, и мы никогда не поймем, с какой стати иностранец, хотя бы жантильом, вдруг станет дарить нашим детям игрушки. Что у него на уме? Откуда такой странный каприз? Разве у иностранцев нет своих собственных детей?

Профессор вздыхает.

— Ах, господин Антуан, у меня было двое детей, две девочки. Но теперь их нет, и я никогда уже больше их не увижу. Понимаете ли вы эту тоску по детям. Один великий философ сказал как-то: «Природа не терпит пустоты». Отсюда и моя чистая, святая любовь, моя отцовская привязанность к Жанете. Будь я богатым человеком, я бы обставил жизнь Жанеты и ее матери прекрасными комфортабельными условиями, дал бы девочке превосходное образование, сделал бы каждый день ее существования на свете радостным и полезным для нее и для окружающих ее людей. Но что же я, бедный дьявол, могу теперь

для нее сделать, только подарить ей кое-когда дешевую игрушку.

Господин Антуан растроган словами профессора и особенно его теплым, печальным, задушевным тоном.

— Чем же я могу помочь вам, мой бедный друг?

Профессор оживает.

— О! Господин Антуан, совсем невинным пустяком. Я видел как-то: вы бросили Жанете с вашего камиона плюшевого медвежонка. Он был уже старый, потрепанный, инвалидный, но я видел, каким восторгом заблистали глаза Жанеты. Вот и все. Так позвольте, я когда-нибудь принесу вам какую-нибудь неважную детскую безделицу, а вы, ничего не говоря, бросьте ее Жанете, и я тоже обещаю вам никому об этом и никогда не говорить. Пусть тайна останется между нами двумя.

В душу каждого француза, даже делового оверньята, вложена небольшая доза сентиментальности, когда дело коснется детей.

— О, — говорит оверньят, хлопая Симонова по плечу. — Конечно, мне это не доставит никакого труда. Я в вашем распоряжении.

Еще задолго до ужасной войны и до последовавшей за нею принудительной эмиграции

Симонов знал поверхностно Париж, восхищаясь им в недолгие наезды. Теперь, прожив в столице мира почти десять лет, он не устает все больше изумляться ею: ее жизненной могучей силой, ее радостным, всегда молодым темпом, ее любовью к зрелищам, к острому слову, к изяществу во всех отраслях жизни, чудесной законченностью во всех делах, изобретениях и творческих произведениях. Чего только не подарил Париж всему свету. Самый блистательный, самый роскошный, самый могущественный и самый абсолютный монархизм и самые кровавые, самые непреоборимые революции; мудрость Паскаля и оперетку Оффенбаха, смех Рабле и язвительную иронию Вольтера, тонкие афоризмы мыслителей и прекрасное в своей грубости историческое слово Камбронна, удивительнейшие духи знаменитых парфюмеров и мудрую книгу Суварена «Физиология вкуса».

В продолжение многих столетий Париж был всеми признанным царем, владыкою женских мод, и останется на этом троне еще на много веков, как останется впереди прочих народов в областях математики, химии, физики, строительства, юриспруденции, медицины, инженерных искусств и всех прочих наук и искусств.

Марка Парижа — это пропускной билет в храм славы и бессмертия. Это знают не только ученые, не только знаменитые писатели, художники, скульпторы, композиторы, музыканты, певцы, но и престидижитаторы, Вантерлоки, жокеи, клоуны, сальтимбанки и предсказатели. Париж скуповат на денежные глупые подношения, но его аплодисменты звучат на весь земной шар. И как благородно хранит Париж память о том, кто при жизни удостоился сделаться его любимцем. Вряд ли есть во всем мире другой город, в котором с парижской роскошью были бы увековечены в статуях и в наименованиях улиц великие люди, ушедшие из жизни. Воистину Париж светоч и столица *мира.*

Но особенно сильно пленяло и восхищало Симонова народное кустарное, наивное творчество французов. Он никогда не пропускал хозяйственных выставок в память парижского префекта Лепина и заслушивался изумительным красноречием уличных шарлатанов, которые при помощи слова и жеста умели втереть прохожему самую пустячную и никуда не годную вещь. Также доставляло ему большое и чисто мальчишеское удовольствие ходить по Большим бульварам в те погожие часы, когда там безвест-

ные изобретатели и мастера продавали детские игрушки, всегда новые, всегда забавные, всегда заманчивые и остроумные. Ведь только здесь, в невольном и тяжком изгнании, он понял, что почти все милые и любимые игрушки его раннего московского детства круговым путем приходили из Парижа: и бильбоке — игра садовая, и американский чертик, разноцветные воздушные шары, и скрипучие кри-кри, запрещенные потом обер-полицмейстером Огаревым. А парижские кустари выделывают да выделывают все новые да новые игрушки, забавляющие взрослых и детей, стариков и старух, девочек и мальчиков. Какая веселая изобретательность и какое знание сегодняшней моды. Стали парижские дамы увлекаться фокстерьерами — на бульварах тотчас же появляются крошечные фоксы из лайки, плюша, фланели и даже бархата. Вошли в моду мохнатые айриштерьеры — и уже на Больших бульварах продаются сотни этих добродушных симпатичных собачонок, которые и живыми кажутся, будто они наспех, неумелыми детскими руками, сделаны из ваты, пуха и домашних мелких лоскутков. Потом пришла очередь Микэ, не то мышат, не то морских свинок, не то кроликов. Эти Микэ раньше до слез смешили ребятишек,

выходя в антрактах кинематографов на экране, но потом их потешный образ был перелицован в маленькие игрушки, которые и смешили по-прежнему, и вскоре оказались отличными порт-бонерами[15]. Большой успех имели растягивающиеся и сжимающиеся игрушки ё-ё, но успех их оказался недолгим — месяцев пять-шесть, а потом он исчез. Но бывают игрушки-счастливцы, на которые не влияют ни моды, ни время, ни капризы покупателей и которые в спросе постоянно: десятками, если не сотнями лет. Тут либо ворожба, либо умно схваченный вкус всех детей одного и того же возраста. Это, во-первых, два картонные боруа, которые прекрасно изображают на столе все перипетии римско-французской борьбы, будучи незримо привязаны к тончайшей ниточке, управляемой игрушечником. Затем утка, крякающая при нажиме на весь базар, и, наконец, жуки, мухи, стрекозы, пчелы и прочая тваришка, которая сама движется от пружинного завода. И, двигаясь, дребезжит. Конечно, такая игрушка может прожить несколько человеческих поколений, если солидный папа вынимает ее в праздничный день из стеклянного футляра

[15] Примечания: 15
Брелоками (от *фр.* porte-bonheur).

и осторожно заводит, отнюдь не перекручивая завод, а после того как кукла исполнила свой номер, осторожно запирает ее в тот же футляр, где она пролежит мирно до следующего большого праздника. Но куда же мы тогда денем невинное детское любопытство и присущее детям научное влечение ко всем механизмам?

На другой же день после своего сентиментального разговора с оверньятом Антуаном Симонов пошел на Большие бульвары. Предварительно он сделал строгий учет своей денежной кассе. Наличными оказалось одиннадцать франков семьдесят пять сантимов. Черному коту Пятнице печенку не покупать ввиду его безвестного отсутствия. Это — плюс. Старые мозеровские часы можно было бы продать или заложить. Ход у них как у судового хронометра. Но кто же польстится на древние серебряные, да еще пожелтевшие за долгую службу часишки? Взять аванс на одном из уроков? Спросят: зачем понадобилось? А не умею я ни лгать, ни кривить умильно подобострастного лица. Обойдусь иначе. Да вот, на что лучше. Пробные опыты вегетарианства, как лучшего стимула физического и духовного возрождения. Это — идет. Полфунта белого хлеба, немножко черствого, стоит пятьдесят сантимов и хватает на

два дня. Теперь вопрос в питательных веществах и в витаминах. Хорош геркулес, недурна овсянка, хвалят квакер и поридж. Надо из них выбрать что посытнее и подешевле. Чай у меня спитой, но был в употреблении только один раз и потому смело послужит еще раз на пять-шесть. Право, все в порядке!

На Больших бульварах, как всегда, было много продавцов игрушек, пропасть покупателей и еще больше праздных зевак. Симонову трудно было выбирать. Что казалось хорошим, было дорого, а дешевые вещицы были скучны, не интересны.

На Итальянском бульваре профессор вдруг наткнулся на игрушку, которая показалась ему и новой, и занимательной, и красивой. На левой руке продавца, под мышкой у него, сидит крошечный веселый фокстерьерчик, трудно сказать — щенок, или уродец, или лилипут. Он необычайно мал и мил. Глазки его задорно блестят, миниатюрные лапочки, вылезшие наружу, находятся в непрерывном движении. «Ну что за прелестный песик», — думает профессор и тут только замечает, что фокстерьер сделан из какой-то белой материи, глаза — из литого стекла, лапочки его заставляет двигаться каким-то образом хозяин. Но не один профессор поддается этой

ловкой иллюзии. То и дело у лотка восклицают не только мужчины, но и более их проницательные женщины:

— Ах, какая прелестная собачка! Можно подумать, что в самом деле игрушечная. Но кто же сумел вырастить такую мелкую породу? Удивительно, до чего теперь доходит всякое искусство! Ах! Как он на меня сейчас поглядел. Ну просто не собака, а человек.

Симонов с унылой безнадежностью спрашивает сипло:

— Сколько?

— Десять франков девяносто сантимов.

Симонов долго и молча стоит, пришибленный своей проклятой бедностью. У него налицо всего одиннадцать франков семьдесят пять сантимов. Если один франк удержать у себя на всю грядущую массу расходов, то, увы, на покупку фоксика все-таки не хватает трех су.

— Три су, — кричит в молчаливом отчаянии профессор к небу, — только три су! Найти бы их хоть на земле. — Он нагибается до самого тротуара. Здоровенный, чеканки Наполеона Третьего, гро-су лежит на земле. Профессор почти не удивляется. Увы! Еще одного пти-су нет, одного су, на который теперь во Франции нельзя купить,

кроме пустой аптечной облатки, ничего.

Но хозяин очаровательного фоксика добродушно говорит:

— Оставьте, не затрудняйте себя. Всего одно су — какой пустяк! Вы лучше посмотрите, как надо управлять собачкой. Один палец сюда, другой сюда, а несуществующее туловище вы как бы прикрываете рукою. Благодарю вас, мосье, я чувствую, что у вас легкая рука.

На другой день, ранним утром оверньят Антуан как бы случайно находит в своем емком камионе эту великолепную игрушку и дарит ее Жанете, показав сначала все чудесные движения веселого, ласкового песика. Игрушка имеет во всем квартале поразительный успех. Все друзья и подруги Жанеты целый день наполняют улицы, переулки и тупики восторженным визгом и неистовыми криками:

— О Жанета, позволь и мне подержать на минуту твою волшебную собачку! Милая Жанета, а она умеет лаять? Как ее зовут, Жанета? А можно ее погладить, Жанета? Ах, какая ты счастливая, Жанета!

Жанета добра и великодушна. К тому же ее радость так чрезмерно велика, что можно в ней захлебнуться, если не поделишься с другими. Она

за сто шагов увидала Симонова и помчалась к нему, как ласточка:

— Господин профессор! О мой дорогой господин профессор! Посмотрите, какая у меня восхитительная вещичка. Видали ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное?

Профессор сделал удивленно-серьезное лицо.

— Нет, милая Жанета, никогда не видел. Это — настоящее чудо. В том, что собачка — фокстерьер, можно не сомневаться по всей ее наружности, но я уверен в том, что такой малюсенькой собачки никто еще на свете не видывал. Это либо англичане, либо японцы могли вырастить такую редкостную породу. Ты ее чем кормишь, Жанета?

Тут девочка разражается звонким хохотом.

— Да ведь она не настоящая, не живая. Она неодушевленная. Она сделана из какой-то материи, у нее даже нет живота, и она не дышит.

— Удивительно! — говорит профессор. — Глаза у нее совсем живые, а мордочка превыразительная. Откуда ты ее взяла, Жанета?

— Мне подарили. Господин Антуан подарил, который по утрам мусор собирает.

— Ну что же, подарок забавный, — хвалит Симонов, — ты его береги.

Веский, времен Наполеона Третьего, десятисантимный гро-су, который с такой уверенностью нашел Симонов на тротуаре Итальянского бульвара, завязал в мозгу и в памяти профессора целый клубок мыслей, воспоминаний и отважных идей. Сидение на овсяном супе и на спитом чае только поощряли изобретательность и энергию ума.

Вот здесь, в Пасси, думал он, близко, стоит рукой подать, находится Булонский лес, резервуар свежего воздуха, с громадным скаковым ипподромом, с двумя озерами, по которым плавают ручные птицы и где можно кататься на лодках. Этот Булонский лес вовсе еще не лес, а хорошо возделанный парк. Но если пойти вглубь, по направлению к Лоншану, то можно забрести в настоящую лесную чащобу, где иногда выбегают к людям стайки грациозных, пугливых диких козочек, исчезающих мигом при неловком движении, при резком звуке. А в другую сторону Булонского леса — зоологический сад. Слоны, медведи, гиены, моржи и тюлени, фламинго и марабу, обезьяны и всякая дикая живность. Недалеко от Булонского леса — Трокадеро с интересным аквариумом, с богатым музеем, с огромным театром, где даются старые, класси-

ческие, прекрасные пьесы. Всего этого никогда еще не видела милая девочка Жанета. Конечно, Симонов и подумать не смеет о систематическом образовании и воспитании чумазой Жанеты. Куда ему! В свое время она пройдет материнскую школу, потом коммунальную, потом — недорогой лицей, в котором научится немного грамматике, немножко литературе, немножко физике и химии, немножко математике, немножко истории и географии, — все для того, чтобы не быть круглой невеждой. А потом, если окажется дар божий, то кто же помешает ей сделаться новой Жорж Занд или новой мадам Кюри? Но профессор умом, чутьем, инстинктом знает и верует в то, что первичные детские впечатления входят в восприимчивые души младенцев и ребятишек с такой необычайной силой и с такой стихийной мощью, которые не имеют себе ничего равного в мировом здании. Каждый свет и цвет, каждый фальшивый и музыкальный звук, каждый оттенок человеческого голоса, каждый запах и каждое движение воздуха, каждый предмет, к которому сознательно или полусознательно прикасается будущий человек, каждое услышанное и сказанное слово, каждая мысль, слабо шевельнувшаяся в несовершенном еще мозгу, каждое подобие

сна во сне, каждый атом пищи, проглоченный неумелым и жадным ртом, — все эти явления, образы и предметы идут на созидание того могущественного здания, которому имя *человек* и перед которым все созданное людьми является жалким ничтожеством. «Да, — говорит сам себе с умилением профессор, — правы те мудрые учители, которые советовали окружать рост младенца красотою и добром, рост дитяти — красотою и первичными знаниями, рост отрока — красотою и физическим развитием, рост юношей и дев — красотою и учением».

И профессор говорит дальше:

— Да, пусть Жанета ходит в свою родную школу и учится чему хочет и может на родном языке, который всегда лучшая пища для ума, но почему же ей, под моим любящим руководством, не научиться постигать бесконечную красоту, доброту, богатство и прекрасную планомерность мира? Здесь одна препона: властолюбивая, суеверная, недоверчивая мать, хозяйка газетного киоска. Но ничего. Такую невинную забаву, как зоологический сад, ярмарки или театр, мы уж как-нибудь состряпаем. Недаром я человек хитрый, вроде североамериканского дикаря, на мамашу мы не станем действовать непосредственно и лично.

Нет, как застрельщика, мы пустим вперед ее ами, господина Огюста, ленивого и падкого к вину пломбье[16]. Его просьбе влюбленная дама, конечно, не откажет. А главное — это что все расходы на воскресную прогулку я беру на себя. Это ли не макиавеллиевский прием? А дружба с пломбье давно уже началась и с каждым днем становится крепче. Она несложна: пять-шесть партий в беллот, во время которых профессор будто бы не замечает, что партнер его не прочь приписать на свой счет десять-пятнадцать туров красного вина или перно, взятых Симоновым как бы по ошибке на себя, а особенно искренняя, горячая любовь профессора к Франции и французам — вот узы этой прочной дружбы, на которую уповает хитрый старый эмигрант. Но есть и другое трудно одолимое, почти совсем неодолимое препятствие: деньги. Их нет совсем и давно уже нет. Однако профессор не унывает. Он не напрасно считает себя счастливцем. Начиная от тех глубоких времен, когда он начал сознательно помнить себя, все его серьезные желания исполнялись. Исполнялись порою целиком, порою в половину, а чаще в пятую или десятую

[16] Примечания: 16
Водопроводчика (от *фр.* plombier).

долю, но все-таки исполнялись. Помнится ему, как еще до поступления в приготовишки жил он с родителями в Москве на Пресне, в деревянном доме, большой двор которого был настоящим ристалищем для благородной игры в бабки. И вот малышу Кольке во что бы то ни стало захотелось выиграть бабку-свинчатку, взяв ее с боя. Конечно, такую свинчатку было легко и возможно купить, самому сделать или заказать литейщику, но такая бабка не имела почета и не внушала уважения. Ценилась только бабка свинчатка-битка, которая имела бы свою батальную историю, подтверждаемую свидетельством знаменитейших в квартале игроков. Добыть такую свинчатку бывало нелегко: требовалось разбить столько-то конов и выбить столько-то свинчаток, играя с партнерами наивысочайших качеств. И Симонов выслужил-таки свою знаменитую свинчатку. Правда, через год, будучи уже в первом классе гимназии и перейдя через великое испытание.

Потом, уже во втором классе гимназии, его страстно повлекло желание попасть в гимназический церковный хор. Это удалось не скоро и пришло к Симонову лишь тогда, когда его сиплый теноришко переломился в приятный баритон. То же было с умением плавать, с верховой ез-

дой, с первым застреленным зайцем, с первой робкой, наивной любовью, с первой лекцией, с первой вышедшей в свет книгой. Правда, с годами профессор стал замечать, что сила желания и послушность ему судьбы живучи только в юности, немного устают в молодости, слабеют в зрелом возрасте, а затем хотя и повинуются, но как-то спотыкливо и неуверенно, но все-таки повинуются. В Париже, в дурные дни, он нашел на улице один раз пять франков, а в другой — два. Да вот и недавний случай на Итальянском бульваре. Разве не по его желанию нашелся на земле этот толстый гро-су? Надо только собрать в комок волю и напрячь желание.

Всю ночь лил сплошной дождь. Утро проснулось теплое и туманное, солнце скрывалось в густых ленивых тучах.

Как всегда, профессор рано скатился со своего чердачка на улицу. Мусорщики уже начали свою работу. Вспомнилась Жанета, принцесса четырех улиц, и сердце заколотилось и заныло от непонятной жалости. Навстречу Симонову шел его старый друг — художник.

— Добрый день, господин профессор!

— Добрый день, Иван Иванович. Что же, пойдем в Буа-де-Булонский лес?

— Пойдем.

Они пошли далеко за ипподром, вдоль наружного озера до паромного перевоза на другую сторону. Художник выбранил политику Германии и предсказывал близость ужасной войны, размеров и жестокости которой не может представить себе человеческое воображение.

Так они дошли до той бухточки, где стояли лодки, отдаваемые напрокат. Впереди их ждало странное зрелище. Лебеди сгрудились на воде в густом тумане. Странно: перспектива совсем пропала, точно исчезла, осталась лишь плоскость. От этого птицы казались нарисованными или, вернее, нанизанными на невидимые ниточки и поставленными параллельно.

— Что за черт! — воскликнул неприятно удивленный профессор. — Кажется, весь мир сплюснулся?

— Это ничего, — пояснил художник, — это только аберрация зрения, то самое, что бывает на кораблях и в пустынях. Сейчас взойдет солнце, и все станет на свои места, указанные Господом Богом.

И действительно, художник был прав. Туман скоро осел, предметам вернулось их тело. Друзья пошли обратно, художник вдруг по дороге

сказал:

— Я чуть не забыл с этими туманными превращениями, что пришел к вам по делу. Помните вашу старинную картинку по дереву?

Симонов напряг память и вспомнил. Речь шла о художественной маленькой вещице, которая множество лет валялась в родовом новгородском доме Симоновых и которую профессор почему-то вывез с собою в Париж. Она в темных тонах изображала древнюю голландскую или фламандскую харчевню, с молодцом в медном шлеме, с роскошнотелой, полуголой женщиной, с белой собакой и с мальчуганом, делающим в угол то же, что и брюссельский Манекен-пис. Когда-то, очень давно, профессор дал эту вещь художнику с просьбой узнать ее автора и приблизительную стоимость. Он сказал:

— Помню. И что же?

— Это не Теньер, как я предполагал, а Тенирс, любимый ученик Теньера. Что любимый — видно из того, что он дал ему как бы частицу своего имени. Вещь хорошая. Если наскоро ее продавать в магазинах обже д'ар[17], дадут тысяч восемь-десять. С любителя можно свободно взять двадцать,

---

[17] Примечания: 17
Антикварных (от *фр.* objets d'art).

а со знатока и тридцать. И все. И моя миссия окончена.

— Я обещал дать вам куртажные, — мягко сказал Симонов.

— Эх, бросьте глупости городить, — ответил художник. — Вы обещали, а я этого обещания и слышать не хотел. Съедим когда-нибудь ляпена[18] или барашка с чесночком в кабачке у мадам Бюссак и запьем их шопином красного ординера, и баста. Квиты.

Они поднимаются по перекидному мосту и по нему же спускаются на другую сторону, вниз, прямо к давно знакомому киоску. Профессор идет первым... Художник вдруг с удивлением слышит его тревожный возглас:

— Господи! Где же киоск? Что же случилось с киоском?

Легкий художник горошком скатывается вниз и застает профессора с руками, вздетыми к небу. Журнальная лавка полупуста и полуразрушена, повсюду пыль, грязь, клочья бумаги, обрывки веревок и шпагата, и вокруг теснятся чужие, незнакомые люди, похожие на погромщиков. Профессор ничего не понимает, но сердце у него

---

[18] Примечания: 18
Кролика (от *фр.* lapin).

холодеет и сжимается от дурного предчувствия. Незнакомые громилы внушают ему суеверный страх. Он идет в бистро мадам Бюссак.

— Мадам, что такое случилось с киоском? Неужели какое-нибудь несчастие?

Госпожа Бюссак — истинная староста Пасси. Она всегда и все знает раньше других.

— О, ничего особенного, господин профессор. Успокойтесь.

И тут она подробно рассказывает Симонову всю суть киоскного происшествия.

Мать Жанеты своего газетного дела никогда не любила; никогда не хотела и не умела его вести. И вот теперь представился ей очень выгодный случай разделаться со своим киоском. Вчера вечером она окончила сдачу своего дела новым владельцам и поехала на вокзал с Жанетой и с господином Огюстом. Ни для кого не были тайной их отношения, но теперь они устраиваются, как настоящие буржуа. Мать Жанеты получила на днях кругленькое наследство у себя в Лангедоке или, кажется, в Бретани, а господин Огюст получает там же солидное место на большом заводе. Конечно, прибыв к себе в скучный Лангедок, они немедленно обвенчаются, сначала в мэрии, а потом в церкви.

— Ну, что же, господин профессор, пожелаем им доброго пути и счастливого брака, — сказала госпожа Бюссак.

— Пожелаем. Дай бог, — сказал профессор. — Ах, как мила была ее дочка Жанета.

— О да. Славная девочка.

Густой туман, спустившийся на Париж, стоял до вечера. Симонов вернулся домой поздно. Внезапное исчезновение Жанеты и тяжелая погода совсем его раздавили. Он сидел в темноте, без огня, и безучастно перебирал невеселые серые мысли. В первый раз за всю жизнь ощущал он тихую тоску.

Полил крупный редкий дождь и забарабанил по железному козырьку. «Вот и дождь идет, — подумал профессор равнодушно, — а зимой, может быть, и снег пойдет... Все законно...»

В эту минуту крыша выгибается с железным грохотом, кто-то царапается в стекло.

— Кто там? — кричит профессор и, не дождавшись ответа, открывает окно. Мягкий, тяжелый клубок падает на пол. Симонов зажигает огонь и нагибается. — Пятница! — восклицает он с удивлением и радостью. — Это ты, Пятница? — Кот прыгает ему на колени и начинает бесконечную мурчащую, рокочущую песню. Тут только Симо-

нов с ужасом замечает, какие жестокие следы оставили на его верном друге Пятнице два протекших года: он хромает на правую переднюю и на левую заднюю ноги; на всем теле следы вырванных клочьев шерсти; на морде еще не зажившие глубокие царапины.

— Срамник ты, Пятница, — говорит, вздыхая, профессор. — Впрочем, оба мы хороши.

Кот зевает во всю пасть, показывая весь красный шершавый язык, и громко требует, — мняу, мняу... — я голоден, как собака.

Молча надевает профессор свою непромокаемую разлетайку и бежит по дождю в бистро мадам Бюссак за остатками говядины и молока.